

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Государственные проекты: прояснения и упрощения

- 1. Природа и пространство
- Государственное и научное лесоводство: притча
- Социальные факты — сырые и обработанные
- Фальсификация измерений: народные и государственные единицы
- Землевладение: местная практика и финансовые упрощения
- 2. Города, люди и язык
- Возникновение фамилий
- Официальный язык
- Централизация дорожного движения
- Заключение

1. Природа и пространство

“ Разве не великое удовлетворение для короля — знать в любой момент каждого года число его подданных, общее и по областям, со всем достатком, богатством и бедностью каждого места; [число] его дворян и священнослужителей всех видов, монахов, католиков и тех, кто придерживается другой религии, размещенных по месту их жительства?... [Разве это не] полезное и необходимое удовольствие для него — быть способным в собственной канцелярии рассматривать во всякое время настоящее и прошлое состояние огромного царства, которое он возглавляет, и быть способным самому знать достоверно, в чем состоит его великолепие, его богатство и сила?

Маркиз Вобан при предложении Людовику XIV ежегодной переписи в 1686 году

Некоторые формы знания и способы управления требуют сужения поля зрения. Преимущество такого прицельного взгляда состоит в том, что в фокусе рассмотрения оказываются немногие конкретные аспекты действительности, которая при ином подходе выглядит гораздо более сложной и неуправляемой. В результате такого упрощения рассматриваемое явление видится более ясно и, следовательно, поддается измерениям и расчетам. Объединив данные многих подобных операций, можно достичь более целостного и общего представления о выбранном явлении действительности, тем самым обеспечив более высокий уровень упорядоченности знания, контроля и управления.

Изобретение научного лесоводства в конце XVIII в. в Пруссии и Саксонии может служить своего рода эталоном этого процесса[10]. Хотя история научного лесоводства интересна и сама по себе, здесь она используется как метафора форм знания и манипулятивной деятельности, характерных для властных структур с четко выраженными интересами, наиболее яркими примерами которых являются государственная бюрократия и большие коммерческие фирмы. Рассмотрев как упрощение стремление к понятности и манипуляция действуют в управлении лесами, мы сможем увидеть, как современное государство применяет аналогичный подход к городскому планированию, расселению крестьян, управлению землями и организации сельского хозяйства.

Государственное и научное лесоводство: притча

“ Я [Гильгамеш] победил бы в кедровом лесу....я подниму руку и буду рубить Кедр.

Эпос о Гильгамеше

Еще до развития научного лесоводства европейское государство раннего модерна видело в своих лесах прежде всего источник доходов. Разумеется, не были лишены государственного внимания и другие аспекты лесопользования, такие как заготовка древесины для судостроения, строительства, топлива и др. Эти заботы имели самое серьезное значение и для государственной казны, и для безопасности[11]. Однако можно без преувеличения сказать, что в целом интерес короны к лесам сводился к одному — ежегодному извлечению доходов из производства древесины.

Чтобы оценить серьезность такого ограничения подхода, посмотрим, что при этом упускается. За суммами полученных доходов скрываются не только леса, превращенные в коммерческую древесину, т. е. погонные футы строительной древесины и корды дров, проданных по определенной цене. Эти суммы, конечно, не учитывают деревьев, кустарников и других растений, малоперспективных для государственного дохода. Не учитываются и те потенциально доходные части деревьев, ценность которых не имела прямого денежного выражения, но была несомненной для населения, т. е. листва и ее использование в качестве фуража; плоды как пища для людей и домашних животных; ветви и прутья, используемые в качестве подстилок, ограждений, кольев и хвороста; кора и корни для изготовления лекарств и дубления; сок для изготовления смолы и т. д. Не только каждый вид деревьев, но и каждая часть дерева или стадия его роста имели свои уникальные свойства и возможности применения. Отрывок из статьи «Вяз» в популярной энциклопедии местной флоры и фауны XVII в. показывает, какой обширный диапазон практического использования имело это дерево.

“ Древесина вяза обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать ее как в очень сухом, так и в очень влажном климате; она прекрасно подходит для строительства водопроводов, водяных мельниц, изготовления черпаков и колесных осей, насосов, акведуков, корабельных

досок, лежащих ниже ватерлинии... а также для ремонта колес; изготовления ножовочных рукояток, оград и ворот. Вяз устойчив на раскол... из него делают колоды для рубки мяса, болванки для шляп, сундуки и короба с последующей обтяжкой кожей, гробы, комоды, длинные столы для игры в шаффлборд; резчики по дереву используют его для изготовления декоративных плодов, листьев, щитов, статуй и других элементов орнаментов, украшающих архитектурные сооружения... И, наконец,... не следует пренебрегать и листьями этого дерева, особенно женской его особи... зимой, да и засушливым летом, когда сено и солома дороги, они сослужат великую службу скоту... Измельченный зеленый лист вязов залечивает свежие раны и порезы, а заваренный вместе с корой сращивает сломанные кости[12].

Однако в государственном «финансовом лесоводстве» реальное дерево с обширным числом возможных применений подменяется абстрактным, представляющим лишь объем полученной древесины или дров. Если королевская концепция леса и была утилитарной, то ее утилитаризм ограничивался прямыми нуждами государства.

На взгляд натуралиста, при таком подходе из истинной картины леса выпадало почти все, т. е. значительная часть не только флоры — травы, цветы, лишайники, папоротники, мхи, кусты и вьющиеся растения, но и фауны — пресмыкающиеся, земноводные, птицы и неисчислимы виды насекомых. Оставались лишь те виды животных, которые интересовали егерей короны.

С точки зрения антрополога, такая ограниченность государственного взгляда почти полностью исключала взаимодействие человека с лесом. Государство, конечно, не спускало браконьерства, наносившего ущерб доходам от производства древесины и мешавшего королевской охоте, но в остальном игнорировало как обширное, сложное и согласованное общественное использование леса для охоты и сбора плодов, выпаса скота и заготовки кормов, рыболовства, производства древесного угля, изготовления конской упряжи, заготовки продовольствия и ценных минералов, так и его важнейшую роль в традициях, мифах, ритуалах и обычаях народа[13].

Надо признать, что в своем утилитарном — абстрактном и парциальном — взгляде на лес, при котором за (коммерческими) деревьями реального, существующего леса уже не видно, государство отнюдь не было одиноко. Действительно, некоторый уровень абстракции необходим при любом методе анализа, поэтому неудивительно, что абстракции государственных чиновников отражают первоочередные финансовые интересы их нанимателя. Статья «лес» в энциклопедии Дидро почти полностью посвящена общественной пользе лесоматериалов, налогам, доходам и прибыли, которую они могут принести. Лес как среда обитания исчезает, его заменяет лес как экономический ресурс, которым нужно управлять эффективно и с пользой[14]. Здесь финансовая и коммерческая логики совпадают; и та, и другая решительно устанавливаются на минимальной отметке.

Терминология, применяемая в попытках упорядочения природы, неизменно выдает истинные намерения авторов этих попыток. Действительно, заменив слово «природа»

термином «природные ресурсы», утилитарист фокусирует внимание лишь на тех аспектах окружающего мира, которые можно приспособить и использовать для нужд человека. Следуя этой логике, из целостного мира природы выделяют определенные виды флоры и фауны, имеющие утилитарную ценность (т. е. пользующиеся спросом на рынке), что служит основанием для пересмотра классификации других видов, конкурирующих с первыми, питающихся ими или иным образом уменьшающих «сборы» утилитарно ценных видов. Так используемые человеком растения становятся «урожайными культурами», сопутствующие им и конкурирующие с ними растения — «сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Так ценимые человеком деревья становятся «древесиной», а конкурирующие с ними виды — «бросовым» лесом или «подлеском». То же и с фауной: высокоценимые человеком животные становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями».

Как видим, сам тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством в лице его чиновников к лесу, не уникален, однако примечателен не только особой узостью взглядов и возможностями последовательной и тщательной разработки, но и в особенности тем, что позволял государству навязать эту логику самой действительности[15].

Научное лесоводство, примененное впервые примерно в 1765—1800 гг. главным образом в Пруссии и Саксонии, постепенно стало основой управления лесами во Франции, Англии, Соединенных Штатах и странах третьего мира. Его появление невозможно понять вне контекста централизованных инициатив того времени, направленных на укрепление государства. Возникшая лесная наука фактически была разделом так называемой камералистики, пытавшейся построить управление финансовыми делами короны на научных принципах, допускающих систематическое планирование[16]. При традиционном поместном лесоводстве лес просто делили на примерно одинаковые участки, число которых совпадало с числом лет в цикле созревания древесины[17]. Ежегодно вырубали по одному участку — считалось, что одинаковые по площади участки дают одинаковые объемы древесины (и доходов). Из-за плохих карт, неравномерного распределения наиболее ценных для заготовки крупных деревьев (Hochwald) и очень приблизительного значения корда (Bruststaerke) результаты не удовлетворяли нуждам финансового планирования.

К концу XVIII в., когда финансовые чиновники обнаружили все возрастающую нехватку древесины, встал вопрос о необходимости более осторожной эксплуатации поместных лесов. Многие старые леса — дубовые, буковые, грабовые, липовые — были истощены плановыми и браконьерскими вырубками, а восстановление лесов шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Неизбежное в ближайшем будущем сокращение заготовок древесины вызывало тревогу не только потому, что угрожало доходам, но и потому, что могло вызвать массовое браконьерство со стороны крестьян, вынужденных таким способом добывать себе дрова. Беспокойство государства проявилось, в частности, в многочисленных конкурсах на лучший проект устройства более эффективных лесных питомников.

Первую попытку точного обмера леса предпринял Йоханн Готлиб Бекман. По тщательно отобранному типовому участку шли в ряд несколько его ассистентов, у каждого была специальная коробка с разноцветными гвоздями, разложенными по пяти отделениям. Ассистенты были обучены различать деревья пяти типовых размеров, каждый из которых

кодировался своим цветом. Следовало отметить соответствующими гвоздями все деревья на участке. К началу обмера у каждого ассистента было определенное число гвоздей каждого цвета, поэтому для завершения инвентаризации деревьев по типам для всего участка достаточно было вычесть число оставшихся гвоздей из их начального общего количества. Участок для обмера отбирали очень тщательно, его представительность для данного леса должна была позволить лесникам рассчитать не только запас древесины, но и потенциальный доход с учетом некоторых ценовых предположений от ее заготовок по всему лесу. Задача ученых-лесоводов (Forstwissenschaftler) состояла в обеспечении «регулярных поставок максимально возможного и *постоянного* объема древесины»[18].

Точность расчетов значительно возросла, когда для определения объема продажной древесины в стандартном дереве (Normalbaum) данного вида и размера математики стали пользоваться формулой объема конуса. Их вычисления проверялись опытным путем по фактическому объему древесины в эталонных деревьях[19]. Результатом этих усилий стали сложные таблицы с данными о размерах и возрасте деревьев при определенных условиях нормального роста и созревания. Как ни парадоксально, но резко сузив свое видение леса до представления о коммерческой древесине, государственный лесничий с помощью этих таблиц достигал целостного представления о лесе[20]. Отраженное в этих таблицах ограничение поля зрения фактически оказывалось единственным способом охватить лес одним взглядом. Использование этих таблиц в сочетании с наблюдениями на месте позволяло леснику довольно точно оценивать состав, рост и объемы заготовок в данном лесу. В упорядоченном, абстрактном лесу ученого-лесоведа правили расчет, измерение и, говоря современным языком, три руководящих принципа: минимум разнообразия, строгий баланс и стабильность заготовок. Логика управляемой государством лесной науки оказывалась практически идентичной логике коммерческой эксплуатации[21].

Достижения немецкого лесоводства в стандартизации методов расчета стабильных заготовок коммерческой древесины, а следовательно, и доходов были довольно внушительны. Для нас, однако, более важным является их следующий и вполне логичный шаг в управлении лесами — попытка путем продуманных посевов, посадок и вырубок создать лес, обеспечивавший государственным лесничим удобство и простоту подсчета, обмера, оценки и управления. При поддержке государственной власти лесоводство и геометрия оказались способны преобразовать реальный, разнообразный, хаотически растущий, старый лес в новый, более однородный и лучше соответствующий административным схемам управления лесами. С этой целью расчищали подлесок, уменьшали число видов деревьев (часто до одной культуры) и производили посадки — одновременно на больших участках и прямыми рядами. Такие методы лесоводства, как отмечает Генри Лоувуд, «дали монокультурный, одновозрастный лес, в конечном счете превративший Normalbaum из абстракции в реальность. Немецкий лес стал эталоном навязывания беспорядочной природе тщательно выстроенной научной конструкции. Практические цели поощряли математический утилитаризм, для которого внешним признаком хорошо управляемого леса было его геометрическое совершенство; в свою очередь рациональное и упорядоченное размещение деревьев открывало новые возможности управления природой»[22].

Налицо было стремление к армейскому порядку — в полном смысле этих слов. В лесу деревья должны были стоять параллельными, однородными рядами, удобными для обмера, подсчета, вырубки и заменены на новые ряды, составленные из таких же «призывников». Как и армия, лес управлялся иерархически — сверху, он предназначался для выполнения одной-единственной задачи и находился в распоряжении единственного командующего. В пределе даже не нужно было смотреть на этот лес; он должен был точно «вычитываться» из таблиц и карт в конторе лесничего.

Управлять этим новым, «построенным по ранжиру» лесом стало гораздо удобнее. Растущие строгими рядами деревья одного возраста позволяли легче убирать подлесок, валить и вывозить лес, новый способ посадки повышал технологичность всех этих процессов. Установленный в лесу порядок позволял широко использовать письменные инструкции для работников. В новой лесной среде поставленные производственные задачи могла вполне успешно выполнять необученная и неопытная бригада неквалифицированных рабочих, добросовестно следующих небольшому числу стандартных правил. Заготовка бревен одинаковой толщины и длины не только позволяла успешно предсказывать воспроизводство леса, но и продавать однородный продукт заготовителям и торговцам древесиной[23]. В такой ситуации коммерческая логика и бюрократическая оказались синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на большие расстояния единственного товара и в то же время предоставляла возможность централизованного управления.



Рис. 1. Нормальный смешанный лес отчасти управляемой, отчасти естественной регенерации



Рис. 2. Просека управляемого тополиного леса

С новым лесом было также легче экспериментировать. Теперь, когда сложный естественный лес сменил тот, в котором многие переменные стали постоянными, было гораздо проще исследовать влияние таких переменных, как внесение удобрения, поливки и прореживание посадок одного возраста с единственной разновидностью. Появилась самая лучшая лесная лаборатория, какую только можно было себе представить в то время[24]. Сама простота леса сделала это возможным — впервые можно было оценивать новые режимы управления лесом в прямо-таки экспериментальных условиях.

Хотя геометрически правильный однородный лес был предназначен для облегчения управления и вывоза, он быстро стал также и эстетически значимым. Визуальным

признаком хорошо управляемого леса в Германии и в других местах, где возобладало немецкое научное лесоводство, служила регулярность и аккуратность его внешнего вида. Лес можно было инспектировать почти как войска на параде, и горе лесникам, участки которых не были прибраны как положено. Порядок требовал, чтобы подлеска не было и чтобы упавшие деревья и ветви были собраны и вывезены. Беспорядок, вызванный пожаром или вторжением местного населения, считался угрозой управленческой рутине. Чем более однородным был лес, тем большие возможности он предоставлял для централизованного управления; можно было положиться на рутинные процедуры, а потребность в наблюдении, необходимая для управления разнообразными старорастущими лесами, была сведена к минимуму.

Контролируемая среда заново спроектированного научного леса обещала многие важные преимущества[25]. Она могла обзорно просматриваться главным лесничим; она могла легче контролироваться и была более доступна для лесозаготовок согласно централизованным планам дальнего действия; она обеспечивала устойчивый, однородный товар, устранив таким образом один из главных источников колебания дохода; она создавала наглядный естественный ландшафт, который облегчал управление и экспериментирование.

Эта утопическая мечта научного лесоводства была, конечно, только *имманентной* логикой его методов. Она не была и не могла быть когда-либо реализована на практике. Вмешивались и природа, и человеческий фактор. Существующая топография пейзажа, капризы природы — пожары, штормы, прекращения роста, климатические изменения, популяции насекомых и болезни — будто нарочно расстраивали планы лесников и формировали реальный лес. Кроме того, пользуясь невозможностью должной охраны больших лесных массивов, люди, живущие поблизости, продолжали использовать лес для того, чтобы пасти своих домашних животных, воровским образом заготавливать дрова и хворост, делать древесный уголь и извлекать пользу из леса другими способами, мешающими реализации управленческих планов лесников![26]. Хотя, как и любая утопия, эта схема была всем хороша, разве что не достигала цели, но все-таки существенно было то, что она частично преуспела в штамповке реального леса по своему образцу.

На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись на практике во всех немецких лесах, где это было возможно. Норвежская ель, известная своей выносливостью, быстрым ростом и ценной древесиной, стала для коммерческого лесоводства хлебом насущным. Первоначально на нее обратили внимание как на средство восстановления смешанных лесов, сверх естественного воспроизводства, но коммерческая прибыль от первой ротации оказалась настолько ошеломляющей, что вернуться к смешанным лесам было уже трудно. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян, которые лишились пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств — все это давал прежде существовавший естественный лес. Разнообразные естественные леса, около трех четвертей которых составляли лиственные (роняющие листву) разновидности, заменили хвойными, в которых норвежская ель или шотландская сосна доминировали, а часто были и единственными видами.

В краткосрочной перспективе этот эксперимент по радикальному упрощению леса, превращению его в машину для производства единственного товара имел полный успех.

Краткосрочность эта была довольно длительной, в том смысле, что на воспроизводство деревьев требовалось до 80 лет. Производительность новых лесов полностью изменяла тенденцию во внутренней поставке древесины: посадки делались более однородными и давали больше годной к употреблению древесины, увеличивались поступления от земли, занятой лесопосадками, и заметно сокращалось время ротации (время, по прошествии которого можно было заготавливать древесину с посадок и сажать другие)[27]. Подобно рядам зерновых культур в поле, новые леса мягкой древесины были потрясающими производителями единственного товара. И ничего удивительного не было в том, что немецкая модель интенсивного коммерческого лесоводства стала стандартом для всего мира[28]. Джиффорд Пинчот, второй главный лесник Соединенных Штатов, обучался во французской школе лесоводства в Нанси, которая следовала немецкому стилю, как и большинство школ лесоводства США и Европы[29]. Первым лесником, которого британцы пригласили управлять большими лесными ресурсами Индии и Бирмы, стал немец Дитрих Брандес[30]. К концу XIX в. немецкое лесоводство играло руководящую роль.

Резкое упрощение леса, превращение его в машину для производства единственного товара было тем самым шагом, позволившим немецкому лесоводству стать строгой технической и коммерческой дисциплиной, которую можно было кодифицировать и преподавать. Условие ее строгости состояло в том, что она выносила за скобки или предполагала постоянными все переменные, кроме тех, которые имели непосредственное отношение к воспроизводству отобранной разновидности и к стоимости ее роста и вывоза. Как мы увидим на примере городского планирования, теории революции, коллективизации и сельского расселения, мир, «вынесенный за скобки», часто возвращался, как призрак, навесить эту техническую мечту.

В немецком случае отрицательные биологические, а в конечном счете, и коммерческие последствия «построенного рядами» леса стали глубоко очевидными только после того, как произошла вторая ротация хвойных. «Для них [отрицательных последствий] требуется приблизительно сто лет, чтобы обнаружиться вполне. Многие чистые посадки, в первом поколении показавшие превосходные результаты, во втором поколении сильно регрессировали. Причина этого очень сложна, можно дать только упрощенное объяснение... Затем нарушался и в конечном счете почти прекратился весь цикл питания... Так или иначе утрата одного-двух образцовых участков [используемых для аттестации качества древесины] на протяжении двух-трех поколений жизни чисто еловых посадок — известный и часто наблюдаемый факт. Это составляет от 20 до 30% производственных потерь»[31].

Для описания наихудших случаев в немецком словаре появился новый термин — смерть леса (Waldsterben). Был нарушен исключительно сложный процесс, включающий строение почвы, питание и симбиоз грибов, насекомых, млекопитающих и флоры (некоторые из них и сейчас еще не полностью поняты), что имело весьма серьезные последствия. И все эти последствия имеют, по большому счету, одну причину — радикальную простоту научного леса.

Только тщательное экологическое исследование сможет установить, что именно пошло не так, но упоминание некоторых главных результатов упрощения проиллюстрирует, как влияли многие важные факторы, проигнорированные научным лесоводством. Пристрастие

немецкого лесоводства к формальному порядку и легкости доступа к управлению и вывозу леса влекло за собой уничтожение подлеска, бурелома и сухостоя (вертикально стоящих мертвых деревьев), чрезвычайно сокращая разнообразие насекомых, млекопитающих и птиц, чья жизнедеятельность столь необходима для процессов формирования почвы[32]. Отсутствие лесной подстилки и древесной биомассы на новом уровне леса выявлено теперь как главный фактор, ведущий к истонченной и менее питательной почве[33]. Леса одного возраста и разновидности не только уменьшают разнообразие среды обитания, но и более уязвимы для массивного штормового лесоповала. Сама однородность вида и его возраста среди, скажем, норвежской ели способна обеспечить благоприятную среду обитания для соответствующих вредителей, популяции которых могут вырасти до эпидемических размеров, приводя к большой затрате удобрений, инсектицидов, фунгицидов и родентицидов[34]. Очевидно, первая ротация норвежской ели выросла так хорошо в значительной степени благодаря питательным веществам, долго накапливавшимся в почве прежнего естественного леса. Как только это плодородие было исчерпано, началось резкое снижение роста.

Пионеры в научном лесоводстве, немцы стали и пионерами в признании и попытке устранить многие его нежелательные последствия. С этой целью они изобрели науку, которую назвали «гигиена леса». Вместо дуплистых деревьев, которые служили домом дятлам, совам и другим гнездящимся в дуплах птицам, лесники предоставили им специально разработанные коробки. Были искусственно выращены и внедрены в лес муравейники, за которыми ухаживали местные школьники. Были вновь выведены несколько разновидностей пауков, которые исчезли в результате внедрения монокультурного леса?[35]. Что поразительно в этих усилиях — то, что они являются попытками обогатить обедневшую среду обитания, все еще обуславливаемой единственной разновидностью хвойных для производственных целей[36]. В этом случае «восстановительное лесоводство» пыталось, с переменным успехом, создавать некую *виртуальную* экологию, по-прежнему отрицая ее главное условие — разнообразие.

Метафорическая ценность этого краткого очерка о научно-производственном лесоводстве состоит в том, что он иллюстрирует опасность расчленения действительности на отдельно взятый комплекс и плохо понятый набор отношений и процессов, чтобы выделить тот элемент, который нас сейчас интересует. Инструментом — ножом, который вырезал новый, элементарный лес, — был острый, как бритва, интерес к производству единственного товара. Все, что препятствовало эффективному производству ключевого товара, неумолимо устранялось. Все, что казалось не связанным с эффективным производством, игнорировалось. Видя лес как товар, научное лесоводство снова начинает творить из него машину для производства этого товара[37]. Утилитаристское упрощение леса было эффективным путем максимизации производства древесины на короткий и недолгий срок. Однако в конечном счете его сосредоточенность на прибыли от продажи древесины и производства бумаги, его узкий временной горизонт и прежде всего широкий спектр последствий, которые он решительно проигнорировал, обернулись постоянно преследующими его проблемами?[38].

Даже в области, к которой проявлялся самый большой интерес, — в производстве древесного волокна — рано или поздно обнаруживались последствия недостаточного

наблюдения за лесом. Многое можно проследить вплоть до самого основного упрощения, сделанного в интересах легкости управления и экономической целесообразности, — упрощения монокультурности. Монокультурные леса, как правило, более хрупки, более подвержены болезням и чувствительны к колебаниям погоды, чем поликультурные леса. Вот как выражает это Ричард Плочманн: «Недостаток, присущий всем чистым плантациям, состоит в том, что экология естественных ассоциаций растения становится неуравновешенной. Вне естественной среды обитания физическое состояние отдельного дерева, выращиваемого в чистых посадках, ухудшается, ослабляется его сопротивляемость»[39]. Любые леса, которыми никто не управляет, страдают от штормов, болезней, засухи, плохой почвы или мороза. Однако разнообразный, полный птиц, насекомых и млекопитающих, сложный лес, в котором растут многие разновидности деревьев, более пластичен, более способен противостоять повреждениям и поправиться после них, чем чистые посадки. Его разнообразие и сложность помогают устоять против опустошения: буря обрушит старые деревья одной разновидности, но другая устоит; прекращение роста или нападение насекомых, которое угрожает, скажем, дубам, могут оставить липы и вязы невредимыми. Можно провести такую аналогию. Купец, который, не зная, с чем встретятся его суда в море, отправляет в путь множество судов разной конструкции, разного веса, парусности и навигационного оснащения, имеет хорошие шансы, что какая-то часть его флота все же доберется до порта назначения, в то время как торговец, сделавший ставку на единственный тип и размер судна, рискует потерять все. Биологическое разнообразие леса действует подобно страховому полису, подобно предприятию, руководимому вторым торговцем, а упрощенный лес — более уязвимая система, особенно на долгом пути, поскольку тогда становится явным его влияние на почву, воду и популяции «вредителей». Такие опасности только частично можно устранить с помощью искусственных удобрений, инсектицидов и фунгицидов. При уязвимости упрощенного производственного леса и массивном внешнем вмешательстве, которое потребовалось, чтобы его создать (такой лес можно назвать административным), необходимы все большие усилия, чтобы поддерживать его в должном состоянии[40].

Социальные факты — сырые и обработанные

“ Чтобы общество могло стать объектом количественных измерений, прежде его нужно переделать. Нужно определить категории людей и вещей, сделать взаимозаменяемыми меры; земля и товары должны быть представлены денежным эквивалентом. Есть в этом многое из того, что Вебер называл рационализацией, а также много централизации.

Теодор М. Портер. Объективность как стандартизация

Лес администраторов — это не лес натуралистов. Экологические взаимодействия, складывающиеся в лесу, столь сложны и разнообразны, что не поддаются короткому описанию. Государство, заинтересованное в коммерческой древесине и получении дохода, стремится уменьшить сложность объекта, свести ее к малому числу измерений.

Как природный мир (хотя он и приведен человеком в некоторый порядок) в своем «сыром», первозданном виде не годится для административной манипуляции, так и существующие социальные образцы человеческого взаимодействия с природой в сыром виде трудно перевариваются бюрократией. Административная система способна представлять существующее социальное сообщество лишь чрезвычайно схематично и упрощенно, а потому вряд ли адекватно. Дело не только в возможности, хотя, как и лес, человеческое сообщество слишком сложно и разнообразно, чтобы его тайны легко было превратить в бюрократические формулы. Это связано с целью. Представители государства никак не заинтересованы, да и не должны быть заинтересованы в целостном описании социальной действительности, так же, как и ученый-лесовод не заинтересован в подробном описании экологии леса. Их абстракции и упрощения направлены на небольшое число целей, из которых в XIX в. наиболее заметными были налогообложение, политический контроль и воинская повинность. Представители государства нуждались только в таких методах упрощения действительности, которые соответствовали бы этим целям. Как мы увидим, имеются некоторые поучительные параллели в развитии современного «финансового лесоводства» и современных форм собственности на землю, облагаемых налогом. Государства премодерна были не менее заинтересованы в налоговых поступлениях, чем современные. Но, как и в случае с лесоводством, методы налогообложения и сбора налогов оставляли желать лучшего.

Хорошим примером является абсолютистская Франция XVII в.[41] Косвенные налоги — акцизы на соль и табак, пошлины, продажа лицензий, торговля чинами и титулами — были излюбленными формами налогообложения; ими было легко управлять, они требовали

немного (или вовсе не требовали) информации о владении землей и доходе от нее. Освобождение от налогов дворянства и духовенства подразумевало, что большая часть земельной собственности вообще не облагалась налогами, бремя которых перекладывалось на состоятельных горожан, фермеров и крестьян. Общинная земля, хотя и была жизненно важным ресурсом для сельской бедноты, тоже не приносила никаких доходов. В XVII в. физиократы осудили бы всю общинную собственность по двум основаниям: она неэффективно эксплуатировалась и в финансовом отношении была бесполезна[42].

Любому исследователю абсолютистского налогообложения бросается в глаза, сколь безумно изменчиво и несистематично оно было. Джеймс Коллинс обнаружил, что главный прямой земельный налог, *taille*, часто не платился вообще, никакое сообщество не отдавало больше трети того, что с него причиталось[43]. В результате государство обычно полагалось на исключительные меры, чтобы восполнить нехватки дохода или оплатить новые расходы, особенно на военные кампании. Корона взыскивала «принудительные ссуды» в виде ренты и платы за отчуждение прав (*rentes, droits alienes*) в обмен на обязательства, которые она могла выполнить, а могла и не выполнять; она продавала должности и титулы (*venalites d'offices*); она облагала налогами печи (*fouages extraordinaires*); и, что самое скверное, определяла войска на постой непосредственно в населенных пунктах, тем самым часто разрушая целые города[44].

Постой войск как обычный способ финансового наказания соотносится с современными формами систематического налогообложения, как арест и четвертование потенциальных врагов короля (так поразительно описанные Мишелем Фуко в начале книги «Надзирать и карать») — с современными формами систематической изоляции преступников. В общем-то, не из чего было выбирать. Государство испытывало недостаток в информации и в административных схемах, которые позволили бы ему получать от своих подданных надежный доход, близкий к их фактической способности платить. Как с доходом, получаемым от леса, здесь не было никакой альтернативы грубым прикидкам и, соответственно, колебаниям в воспроизводстве. В финансовом отношении государство преמודерна было, если воспользоваться удачной фразой Чарльза Линдблома, «рукой, у которой все пальцы — большие», оно было неспособно к тонкой настройке.

Грубая аналогия между управлением лесом и налогообложением в конце концов перестает работать. В отсутствии надежной информации о восстановимом уровне воспроизводства древесины государство могло неосторожно перейти предел естественного восстановления и поставить под угрозу будущие поставки, или, иначе, могло оказаться не в состоянии реализовать уровень дохода, который лес мог бы выдержать[45]. Деревья, конечно, не были способны к политическому действию, а налогооблагаемые подданные короны очень даже были. Они сообщали о своей неудовлетворенности налогообложением различными формами тихого сопротивления и уклонения, а в чрезвычайном случае — прямым восстанием. Иначе говоря, надежный способ налогообложения подданных зависел не только от выяснения их экономических условий, но и от решения вопроса о том, каким требованиям они будут энергично противодействовать.

Каким же образом представители государства начали измерять и кодифицировать население каждой области королевства, их земли, урожаи, их имущество, объем торговли и

так далее? Препятствия на пути даже самого элементарного выяснения этих вопросов были огромны. Борьба за установление единых мер и весов и за составление кадастров может служить показательным примером. Каждое такое действие требовало большой, дорогостоящей, долгосрочной кампании ввиду явного сопротивления. Спротивлялось не только население, но и местные власти; они часто пользовались преимуществами административной неразберихи из-за различия интересов и миссий отдельных звеньев бюрократического аппарата. Но несмотря на приливы и отливы различных кампаний, несмотря на их различные национальные особенности, в конечном счете единые меры были приняты и кадастры созданы.

Каждая такая ситуация иллюстрировала отношения между местным знанием и методами, с одной стороны, и государственными административными приемами — с другой, к этому мы еще будем возвращаться. В каждом случае местные методы измерения и землевладения в их сыром виде были непонятны государству. Они отличались разнообразием и запутанностью, отражавшими множество чисто местных, не государственных интересов. А это означало, что их нельзя было вписать в административную схему, не сведя к удобному, пусть даже при этом частично вымышленному описанию. Как и в научном лесоводстве, логика такого описания задавалась неотложными материальными интересами правителей: финансовыми поступлениями, численностью армии и государственной безопасностью. Это описание, как и нормальное дерево Бекманна, было чем-то большим, чем просто описание, хотя и было неадекватно. Поддержанные всей полнотой государственной власти: отчетностью, судами и, наконец, принуждением, эти псевдоописания начинали подменять якобы отображаемую ими действительность, которая никогда полностью не соответствовала навязанным ей схемам.

Фальсификация измерений: народные и государственные единицы

Негосударственные способы измерения выросли из местной практики. Они имели некоторые родовые черты сходства несмотря на их изумительное разнообразие — черты, благодаря которым они препятствовали административному единообразию. Обобщающая работа медиевиста Витольда Кула позволяет довольно кратко описать местные методы измерения[46].

Наиболее ранние единицы измерения были связаны с человеческой деятельностью. Соответствующая логика легко просматривается в таких выражениях, как «бросок камня» или «в пределах слышимости» для расстояний и «воз», «корзинка» или «горстка» для объема. Учитывая, что размер телеги или корзины мог изменяться от места к месту, что бросок камня не мог быть одинаков у разных людей, эти единицы измерения различаются в зависимости от места и времени. Даже зафиксированные единицы могли вводить в заблуждение. Например, в XVIII в. в Париже пинта была равна 0,93 л., в Сен-ан-Монтань — 1,99 л., а в Преси-су-Тил, что совершенно поразительно, — 3,33 л. Он (*aune*) — мера длины, используемая для ткани, — различалась в зависимости от материала (для шелка, например, она была меньше, чем для полотна), и в разных местах Франции насчитывалось по меньшей мере 17 различных онов[47].

Местные меры были также относительно или «соразмерны»[48]. Фактически любой вопрос об измерительном суждении допускает множество ответов в зависимости от контекста. В наиболее знакомой мне части Малайзии вероятным ответом на вопрос «Как далеко до следующей деревни?» будет: «Три раза сварить рис». Ответ предполагает, что спрашивающий интересуется тем, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда, а не расстоянием, на котором расположена деревня. И, конечно, когда характер местности различен, расстояние в милях — крайне ненадежный указатель для оценки необходимого времени, особенно когда путешественник идет пешком или едет на велосипеде. Ответ, кроме того, выражает время не в минутах (до недавнего времени наручные часы были редки), а в единицах, принятых в данной местности. Каждый знает, сколько времени требуется, чтобы приготовить местный рис. Таким образом, эфиопский ответ на вопрос о том, сколько соли требуется для определенного блюда, мог бы быть: «Половина того, что нужно для приготовления цыпленка». Ответ адресуется к стандарту, который, как ожидается, известен каждому. Такие методы измерения сугубо местные, поскольку региональные различия, скажем, в типе риса или способе приготовления цыпленка дадут

другие результаты.

Многие местные единицы измерения связаны со специфическими действиями. Крестьяне *марати*, как отмечает Арджун Аппадурай, выражают нужное расстояние между посадками лука шириной ладони: именно ее удобно использовать в качестве шаблона, перемещаясь по полевому ряду. Подобным же образом, обычная мера для бечевки или веревки — расстояние между большим пальцем и локтем, потому что это соответствует процессу накручивания веревки на руку. Как и с посадкой лука, процедура измерения вложена непосредственно в деятельность и не требует отдельного действия. Кроме того, такие измерения весьма приблизительны; они точны настолько, насколько точна сама задача спрашивающего[49]. Дождь может быть, скажем, проливным или недостаточно долгим, если контекст вопроса подразумевает заинтересованность в получении урожая. И ответ о количестве осадков в сантиметрах хотя и точный, не в состоянии передать желательную информацию, так как не учитывает длительности дождя. Для многих целей, очевидно, неопределенность измерения может сообщать более ценную информацию, чем статистически точное число. Земледелец, который отвечает, что он снял с участка где-то между четырьмя и семью корзинами риса, передает более точную информацию об изменчивости урожая, чем если бы он сообщил о десятилетнем статистическом среднем числе корзин, равном 5,6.

Таким образом, нет единственного, универсального правильного ответа на вопрос о результатах измерения, если мы не учитываем соответствующих местных обстоятельств, которые его вызвали. Таким образом, определенный способ измерения ситуативен, связан с моментом времени и местом.

Нигде так не очевидны особенности общепринятого способа измерения, как в случае с возделанной землей. Современные абстрактные меры, позволяющие измерить землю в единицах площади, гектарах или акрах, особенно неинформативны, если речь идет о жизни семьи, которая должна обеспечить себя урожаем с этих гектаров или акров. Сообщение фермера, что он арендует 20 акров земли, столь же информативно, как и сообщение ученого, что он купил 6 кг книг. Поэтому используемые единицы измерения земли соответствуют тем аспектам работы на ней, которые имеют самый большой практический интерес. Там, где земля была в избытке, а рабочих рук или тягловой силы не хватало, наиболее разумным способом измерения земли было число дней, требуемых для ее вспашки и прополки. Например, участок земли во Франции XIX в. описывался числом *morgen* или *journals* (дней работы), причем вид работы конкретизировался (*homee, bechee, fauchee*). Число *morgen*, представленное полем, скажем, в 10 акров, могло сильно различаться: обработка каменистой неровной почвы могла потребовать вдвое больше времени, чем богатой поймы. *Morgen* также зависел от местной рабочей силы и посеянных культур; на работу, которую человек мог бы выполнить за день, влияла и технология (наконечники плуга, хомуты, упряжь).

Землю можно еще оценивать по количеству требуемых для ее засева семян. В богатую почву семена сажали плотнее, чем в бедную. Количество семян, посеянных на данном поле, довольно точно определяло ожидаемый средний урожай, поскольку сев производился в расчете на средние условия роста, фактически же урожай в данном сезоне как-то отличался от среднего. При данных условиях количество посеянных семян служило грубым указателем

на производительность поля и мало что могло сказать о трудности обработки земли или изменчивости урожая.

Но средний урожай с участка земли — довольно абстрактное число. Большинство фермеров, живущих на самом краю прожиточного минимума, прежде всего хочет знать, надежно ли обеспечит ферма их основные потребности. Так, маленькие фермы в Ирландии описываются как «ферма одной коровы» или «ферма двух коров», чтобы указать на их способность прокормить тех, кто жил в значительной степени молочными продуктами и картофелем. Физическое пространство, которое занимала данная ферма, было второстепенным вопросом в сравнении с тем, сможет ли она прокормить данное семейство[50].

Чтобы охватить потрясающее разнообразие принятых способов измерения земли, нужно вообразить — буквально — множество «карт», построенных в различных координатах, которые сильно отличаются от площади. Я имею в виду, в частности, карты с забавным эффектом, в которых, скажем, масштаб страны выбран пропорциональным ее населению, а не площади. На этих картах Китай и Индия выглядят устрашающе огромными, больше России, Бразилии и Соединенных Штатов, а Ливия, Австралия и Гренландия практически исчезают. Карты таких типов (их можно придумать очень много) будут описывать землю соответственно в единицах работы и урожая, типа почвы, доступности и способности обеспечить пропитание, и ни одна из них не будет соответствовать площади. Решительно все измерения — *местные, заинтересованные, контекстные и исторически определенные*. Бывает, потребности пропитания одной семьи не соответствуют потребностям пропитания другой. Из-за таких факторов, как виды на урожай, рабочая сила, сельскохозяйственная технология и погода, стандарты оценки изменяются от места к месту и через какое-то время. Такое множество карт создаст безнадежно запутанную картину местных стандартов, которые невозможно выстроить в единый статистический ряд, позволяющий государственным чиновникам делать сколько-нибудь значащие сравнения.

Политика измерений

Впечатление, что местные способы измерения расстояния, площади, объема и т. п., хотя и различались между собой и отличались от унитарных абстрактных стандартов больше, чем государство могло бы одобрить, стремились к объективной точности, было бы ложным. Каждое измерение было актом, отмеченным игрой властных отношений. Как показывает Кула, чтобы понять методы измерения в Европе раннего модерна, нужно связать их с борьбой интересов главных сословий: аристократов, духовенства, торговцев, ремесленников и крестьян.

Политика измерения в основном отталкивалась от того, что современный экономист мог бы назвать «негибкостью» феодальных рент. Аристократы и духовенство часто считали трудным делом увеличивать феодальные подати непосредственно; установление размеров различных податей был результатом длительной борьбы, и даже небольшое увеличение какой-нибудь подати сверх общепринятого уровня рассматривалось как угроза традиции[51]. Изменение же единицы измерения предоставляло окольный путь достижения той же самой цели. Местный помещик мог бы, например, давать зерно крестьянам в меньших корзинах, а настаивать на выплате в больших. Он мог бы тайно или даже явно

увеличивать размер мешков зерна, принятых для обмолота (монополия помещика) и уменьшать размер мешков, используемых для отмера муки; он мог бы собирать феодальную подать в больших корзинах, а платить заработную плату в меньших. Таким образом, формально традиция, регламентирующая феодальную подать и заработную плату, осталась бы нетронутой (например, требование одного и того же числа мешков пшеницы от данного урожая), а фактически увеличился бы доход помещика[52]. Результаты такой манипуляции были далеки от тривиальных. Кула установил, что между 1674 и 1716 гг. размер бушеля (boisseau), используемого для сбора главной феодальной ренты (taille), увеличился на треть — так начиналось то, что позднее было названо феодальной реакцией (reaction feodale)[53].

Даже когда единица измерения — тот же бушель — была, очевидно, согласована со всеми, игра только начиналась. Фактически всюду в Европе раннего модерна применялись микрополитические приемы, направленные на то, как с выгодой для себя применять корзины разной степени износа, разной наполненности, различных способов плетения, различающихся влажностью и толщиной, и т. д. В некоторых областях местные стандарты бушеля и других единиц измерения сохранялись в металлической форме и были вверены попечению доверенного должностного лица или в буквальном смысле были вырезаны в камне в церкви или в зале ратуши[54]. И этим дело еще не кончалось. Как следовало засыпать зерно (с высоты плеча, что его несколько утрамбовывало, или от пояса), какой влажности оно может быть, можно ли встряхивать емкость с зерном и, наконец, можно ли и как выравнивать поверхность зерна, когда емкость наполнена, — все это было предметом долгих и ожесточенных споров. Одни договоренности требовали, чтобы зерно насыпалось с «горкой», другие — с «полугоркой», третьи — чтобы поверхность зерна выравнивалась гребком (gas). Все это были нетривиальные вопросы: настаивая на получении пшеницы и ржи в бушелях с горкой, феодал мог увеличить арендную плату на 25%[55]. Если, по обычаю, бушель зерна должен быть выровнен гребком, то дальнейшая микрополитика вращалась вокруг гребка. Должен ли он быть круглым и трамбовать зерно, поскольку его катят против гребня, или заостренным? Кто должен ровнять зерно? Кому можно доверить хранение гребка?

Как можно было ожидать, в центре такой микрополитики была единица измерения земли. Обычная мера длины, элл (ell), использовалась, чтобы отметить область, которую нужно было пахать или пропалывать в качестве исполнения трудовой повинности. Скажем еще раз, длину и ширину, измеренные в эллах, было трудно изменить, поскольку они были установлены в результате долгой борьбы. Это соблазняло помещика или надсмотрщика попробовать поднять подати косвенно, увеличив длину элла. Если попытка оказывалась успешной, формальные правила исполнения работниками трудовой повинности не были нарушены, но объем выполненной работы увеличивался. Возможно, самой трудной из всех единиц измерения, бывших в употреблении до XIX в., была стоимость хлеба. Поскольку хлеб был важным товаром эпохи премодекна, его цена служила своего рода индексом «стоимости жизни», она была предметом глубоко укоренившегося сравнения с типичной городской заработной платой. Кула рассказывает, что пекари, боясь спровоцировать бунт непосредственным нарушением «самой цены», ухитрились, однако, манипулировать размером и весом хлеба, чтобы до некоторой степени компенсировать изменения в цене ржаной и пшеничной муки[56].

Искусство управления государством и измерения

Местные стандарты измерения, привязанные к практическим потребностям, отражающие специфические образцы культур и сельскохозяйственную технологию, меняющуюся с климатом и экологией, служащие «признаком власти и инструментом утверждения привилегии класса» и находящиеся «в центре ожесточенной классовой борьбы», представляли проблему для управления государством[57]. Усилия по упрощению или стандартизации единиц измерения проходят как лейтмотив через всю французскую историю — их новое появление есть безусловный признак предыдущей неудачи. Более скромные попытки просто кодифицировать местные методы и создать таблицы преобразования давали быстро устаревавшие результаты, которые, в свою очередь, должны были заменяться. Министры короля столкнулись с клубком местных измерительных кодов, каждый из которых требовал расшифровки. Каждый район как будто говорил на собственном диалекте, непостижимом для посторонних и при этом меняющемся без предупреждения. И государство либо рисковало большими и потенциально разрушительными просчетами из-за плохого знания местных условий, либо было вынуждено полагаться на советы местных проводников — знать и духовенство, которым доверяла корона и которые, в свою очередь, пользовались преимуществами своего положения.

Непонятность местных методов измерения была для монархии больше чем административной головной болью. Она ставила под угрозу наиболее важные и чувствительные аспекты государственной безопасности. Снабжение продовольствием было ахиллесовой пятой государства раннего модерна; за исключением религиозной войны, ничто так не угрожало целостности государства, как нехватка продовольствия, заканчивающаяся социальными переворотами. Без сопоставимых единиц измерения было трудно и даже невозможно контролировать рынки, сравнивать региональные цены на основные предметы потребления и эффективно регулировать поставки продовольствия[58]. Поскольку государственные структуры были вынуждены искать свой путь на основе отрывочной информации, слухов и своекорыстных сообщений с мест, их решения часто были запоздалыми и несоответственными. Справедливость налогообложения, другая чувствительная политическая проблема, не могла быть достигнута государством, потому что оно едва знало основные элементы сравнения урожаев и цен. Поэтому из-за не всегда достоверных сведений чересчур энергичные меры государства, направленные на сбор налогов, реквизицию для военных гарнизонов, уменьшение городских недостат или какие-то другие, могли вызвать политический кризис. Но даже если эти меры и не подрывали государственную безопасность, смешение противоречивых и разнородных способов измерений порождало громадные несоответствия и финансовые цели не достигались[59]. Никакой эффективный центральный контроль или сравнение цен были невозможны без стандартных, установленных единиц измерения.

Упрощение и стандартизация измерений

“Сильные мира сего, будь то народы или отдельные сильные личности, хотят, чтобы их империя обладала единым пространством, которое величественное

око властелина могло бы обозревать без каких-либо препятствий, неприятных ему или ограничивающих его взгляд. Одинаковый свод законов, одинаковые мерки, единообразные правила и, если бы этого можно было постепенно достичь, единый язык, вот это все и провозглашается совершенной социальной организацией... Великий лозунг дня — единообразие.

Бенжамен Констап. *l'esprit conquete*

Если проект ученых-лесоводов по созданию упрощенного и упорядоченного леса сталкивался с сопротивлением местных жителей, чьи потребительские права были ущемлены, то политическая оппозиция стандартным и четким единицам измерения оказалась гораздо сильнее. Право устанавливать местные единицы измерений было важной феодальной прерогативой с вытекающими отсюда материальными последствиями, от которых аристократия и духовенство не могли отказаться. Доказательства их способности сорвать стандартизацию видны из многочисленных примеров неудавшихся инициатив абсолютистских правителей, пробовавших установить некоторую степень единообразия. Эта особенность местного феодального правления, а также неприятие потенциальной централизации и помогали поддерживать автономию местной власти.

В конечном счете, три фактора благоприятствовали возможности того, что Кула называет «метрической революцией». Во-первых, единообразие единиц измерения способствовало росту рыночного обмена. Во-вторых, и здравый смысл, и философия Просвещения говорили в пользу единого стандарта по всей Франции. Наконец, революция и особенно наполеоновская империя фактически провели в жизнь метрическую систему во Франции.

Крупномасштабный коммерческий обмен и торговля на больших расстояниях содействовали распространению общих единиц измерения. В малых масштабах торговцы зерном могли заключать сделки с несколькими поставщиками, зная меру, которую использовал каждый из них. Они могли бы получать прибыль от своего превосходного знания разнообразных единиц измерения так же, как контрабандисты, использующие свое преимущество в знании небольших различий в налогах и тарифах. Во всяком случае, не вызывает сомнения, что многое в механизме торговли составлено из длинных цепей сделок, часто на больших расстояниях, между анонимными покупателями и продавцами. Такая торговля очень упрощалась и становилась четкой с помощью стандартных единиц измерений. Если ремесленные изделия обычно изготавливались кустарным производителем согласно пожеланиям отдельного покупателя и цена у каждого объекта была своя, то предметы массового производства и не изготавливались кем-то в отдельности и предназначались для любого покупателя вообще. В некотором смысле достоинство массового товара — его надежное единообразие. Поскольку объем торговли рос и товары, участвующие в обмене, становились все более и более стандартизированными (тонна пшеницы, дюжина наконечников плуга, двадцать колес телеги), тенденция к принятию единых мер становилась все явственнее. Чиновники, как и физиократы, были убеждены, что единые меры были предпосылкой создания национального рынка и обеспечения целесообразного действия экономического механизма[60].

Вечный государственный проект унификации единиц измерения во всем королевстве в XVIII в. получил большую поддержку благодаря *reaction feodale*. Чтобы в максимальной степени вернуть свои земельные угодья, владельцы феодальных имений (многие из них — выходцы из низших сословий) манипулировали единицами измерения. Смысл этих обманных действий раскрылся в коллективных жалобах с перечислением политических, религиозных и экономических претензий, подготовленных к собранию генеральных штатов как раз перед революцией. Члены третьего сословия настойчиво призывали к единой системе мер (хотя едва ли это была их главная претензия), в то время как духовенство и дворянство хранили молчание по этому вопросу, по-видимому, выказывая свое удовлетворение существующим положением. Следующее ходатайство из Бретани типично по своему обращению к унитарным мерам, служащим доказательством преданности короне: «Мы просим их [короля, его семейство и его первого министра] присоединиться к нашей проверке нарушений, совершаемых тиранами против класса граждан, которые добры и деликатны и которые до этого дня не были способны повергнуть свои главные жалобы к подножью трона, теперь же мы просим короля о правосудии, и выражаем наше искреннее желание иметь одного короля, один закон, единую систему мер и весов»[61].

Универсальный метр как главную единицу, сменившую старые, своеобразные способы измерений, можно сравнить с национальным языком, используемым вместо существующей путаницы диалектов. Причудливые идиомы заменил новый золотой стандарт, равно как центральное банковское дело абсолютизма уничтожило местные валюты феодализма. Метрическая система сразу стала средством административной централизации, торговой реформы и культурного прогресса. Академики революционной республики, как и королевские академики до них, видели в метре один из интеллектуальных рычагов, которые сделают Францию «доходно-богатой, мощной в военном отношении и легко управляемой»[62]. Предполагалось, что общепринятая система мер будет способствовать торговле зерном, сделает землю более производительной (позволив более простое сопоставление продуктивности и цены) и, кстати, заложит основу национальному налоговому кодексу[63]. Но реформаторы имели в виду еще и подлинную культурную революцию. «Как математика является языком науки, так и метрическая система будет языком торговли и промышленности», служа объединению и преобразованию французского общества[64]. Рациональная система единиц помогала бы установлению рационального гражданства.

Унификация системы мер, однако, зависела от другого революционного политического преобразования эпохи модерна: идеи единого гражданства. Пока каждое сословие имело собственные юридические права, пока различные категории людей были не равны в законе, они могли иметь неодинаковые права и в сфере измерений[65]. Идею единого гражданства, абстракцию общества без элитарности, можно проследить в трудах деятелей Просвещения, в работах энциклопедистов[66]. По их мнению, путаница в способах измерений, ведомствах, законах наследования, системах налогообложения и рыночных инструкциях активно препятствовала единению французского народа. Они представляли себе серию разумных централизующих реформ, преобразующих Францию в национальное сообщество, где будут преобладать одинаковые кодифицированные законы, единицы измерений, обычаи и верования. Следует заметить, что этот проект выдвигает концепцию национального гражданства — представьте французского гражданина, объезжающего королевство и

встречающего на своем пути точно такие же ярмарки, точно те же условия, в каких живет и остальная часть его соотечественников. Вместо совокупности маленьких общин, жизнь в которых понятна местным жителям, но не посторонним, выстроилось бы единое национальное общество с четкой центральной структурой. Сторонники этой концепции хорошо понимали, что ставка делается не только на административное удобство, но и на преобразование народа: «Единообразие привычек, точек зрения и принципов действия неизбежно приведет к большому сообществу таких же привычек и склонностей»[67]. Абстрактная схема единого гражданства создала бы новую действительность — французского гражданина.

Гомогенизация единиц измерений была частью большего преобразования, уравнивающего всех граждан. Одним махом государство гарантировало равенство всех французов перед законом, они уже были не просто подданными своих помещиков и монарха, а являлись носителями неотъемлемых прав как граждане[68]. Все предыдущие «естественные» различия были теперь объявлены искусственными и аннулированы, по крайней мере, в законе[69]. В беспрецедентном революционном преобразовании, где с самых азов создавалась совершенно новая политическая система, узаконить единую систему мер и весов было совсем не таким уж большим событием. Как гласил революционный декрет: «Сбылась вековая мечта масс о правильности только одной меры! Революция дала народу метр!»[70]

Объявить метр универсальным было гораздо проще, чем обеспечить его вхождение в ежедневную практику французских граждан. Государство могло настаивать на исключительном использовании метрической системы в судах, в государственной школьной системе и в таких документах, как дела собственности, юридические контракты и налоговые законы. Вне этих официальных сфер метрическая система продвигалась очень медленно. Несмотря на декрет о конфискации палок *toise* из магазинов и замене их метровыми, народные массы продолжали использовать старую систему, часто маркируя метровые линейки своими старыми мерами. Даже в 1828 г. новые меры были больше *le pavs legal*, чем *le pavs reel*. Как заметил Шатобриан, «Всякий раз, когда вы встречаете человека, который вместо *arpents*, *toises* и *pieds* употребляет в речи гектары, метры и сантиметры, будьте уверены, что этот человек — префект»[71].

Землевладение: местная практика и финансовые упрощения

Доход государства раннего модерна обеспечивали в основном налоги на торговлю и на землю, главные источники пополнения бюджета. Для торговцев это означало множество акцизов, пошлин и рыночных податей, лицензионных сборов и тарифов, для землевладельцев — установление соответствия налоговой документации и собственности каждого человека или учреждения, ответственного за внесение земельного налога. В современном государстве эта процедура кажется чрезвычайно простой, но выполнить ее было очень сложно, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, установленная практика землевладения часто была настолько разнообразной и запутанной, что не поддавалась никакому точному описанию — трудно было выяснить, кто является налогоплательщиком и кому принадлежит облагаемая налогом собственность. Во-вторых, как в случае со стандартизацией единиц измерения, существовали социальные силы, чьи интересы могли быть только ущемлены единой и понятной структурой отношений собственности, желательной для финансовых органов государства. В конце концов централизованное государство добилось успехов в установлении новой и (идущей из центра) четкой системы собственности, которая, как и в научном лесоводстве, не только резко ограничила методы описанной системы, но и преобразовала их, подстроив к сокращенному схематическому использованию.

Иллюстрация

“ В столице — свой порядок, в деревне — свой обычай.

Яванская пословица

Гипотетический пример общинных методов землевладения позволит продемонстрировать, насколько резко такие методы отличаются от голой структурной схемы современной кадастровой карты. В этом примере смешаны методы, с которыми я столкнулся в литературе или в ходе полевых исследований в Юго-Восточной Азии, и, хотя случай предположительный, он вполне реалистичен.

Представим сообщество, в котором семейства в течение основного сельскохозяйственного сезона имеют узуфрукт на засеянную землю, каждые семь лет перераспределяемый среди семей согласно размеру каждой из них и числу здоровых взрослых в ней. Однако сеять

можно только определенные культуры. После того, как урожай собран, на земле из-под зерновых любая семья может подбирать колосья, выпускать на нее домашнюю птицу, пасти скот и даже высаживать быстро вызревающие зерновые культуры в сухой сезон. Право выпускать птицу и домашний скот на пастбище, находящееся в общем содержании деревни, распространено на все местные семьи, но число животных ограничено соответственно размеру семейства, особенно в сухие годы, когда фуража недостаточно. Семьи, не использующие свое право на выпас, могут отдать его другим жителям деревни, но не посторонним. Каждый имеет право собирать необходимое количество дров для потребностей семьи, кузнецу же и пекарю даются большие паи. Никакое коммерческое использование деревенского леса не разрешается.

Посаженные деревья и выросшие на них плоды являются собственностью семьи, которая их посадила, независимо от того, где они растут. Однако плод, упавший с такого дерева, принадлежит любому, кто его поднимет. Когда семья срубает одно из деревьев или оно свалено бурей, ствол дерева принадлежит семье, ветки — соседям, а «вершки» (прутики с листьями) — любому бедному жителю деревни, который подберет их. Выделяется земля в пользование или в аренду вдовам с детьми и иждивенцам мужчин, призванных на военную службу. Права узурфрукта на землю и деревья могут быть даны любому в деревне, а в том случае, если они не востребованы никем из данного сообщества, они могут быть отданы кому-то из чужаков.

В случае неурожая, приведшего к нехватке продовольствия, многие из этих правил меняются. Ожидается, что богатые жители возьмут на себя часть ответственности за бедных родственников, помогая им на их земле, нанимая их или просто кормя. Если же дефицит продовольствия сохраняется, совет, составленный из глав семейств, может провести опись запасов продовольствия и начать ежедневно нормировать их. В случаях острой нехватки продуктов или угрозы голода женщин, вышедших замуж за жителя деревни, но еще не родивших детей, перестают кормить: предполагается, что они вернуться в свои родные деревни. Этот последний обычай напоминает нам о неравенстве, которое часто царит в локальных сообществах: одинокие женщины, молодые мужчины и вообще любой, кто выпадает из ядра сообщества, явно находятся в невыгодном положении.

Такое описание можно было сделать более подробным. Само собой разумеется, это упрощение, но оно отчасти передает фактическую сложность отношений собственности там, где преобладают местные обычаи. Кстати, было бы неправильно представлять обычаи как законы. Обычаи лучше понимать как действующие практические договорные отношения, которые непрерывно приспособляются к новым экологическим и социальным обстоятельствам, включая, конечно, и отношения с властью. Системы землевладения, основанные на обычаях, не стоит идеализировать, они обычно зависят от рода, статуса и происхождения. Но, так как они узкоместные, специфические и приспособляемые, их гибкость допускает микрорегулирование, ведущее к изменениям существующей практики.

Вообразите теперь законодателя, который хочет кодифицировать эту практику, т. е. зафиксировать систему определенных законов, в которых будет отражен этот запутанный клубок отношений собственности и землевладения. Голова пойдет кругом от этих пунктов, подпунктов и еще под-подпунктов, которые потребовались бы для сведения этой практики к

набору инструкций, хотя бы понятных администратору, не то что исполнимых. И даже если эти методы могли бы быть кодифицированы, итоговый свод законов обязательно пожертвовал бы во многом их гибкостью и приспособляемостью. Обстоятельства, которые могли бы вызвать необходимость адаптации, слишком многочисленны, чтобы их предвидеть, не говоря уже об их уточнении в регулируемом своде законов. Такой документ на практике заморозил бы жизненные процессы, а изменения в нем, направленные на отражение развивающейся практики, в лучшем случае представляли бы собой только попытку судорожного и механического приспособления к меняющейся действительности.

А как насчет *других* поселений? Наш гипотетический умный и добросовестный законодатель нашел бы, что законы, разработанные для одного набора местных практик, не смогут работать в другом месте. Каждая деревня с ее собственной историей, экологией, привычными культурами, родственными связями и экономической деятельностью потребовала бы совсем другого набора инструкций. В конце концов потребовалось бы по меньшей мере столько же законов, сколько было бы сообществ.

С административной точки зрения, конечно, такая неразбериха местных инструкций была бы кошмаром. Не для тех, кто на практике применяет эти обычаи, а для тех государственных чиновников, которые стремятся к унифицированному, единообразному национальному административному своду законов. Подобно «экзотическим» единицам мер и весов, местная практика землевладения прекрасно подходила всем тем, кто жил на этой земле изо дня в день. Ее детали часто могут быть спорными и далекими от того, чтобы удовлетворить всех ее пользователей, но она полностью понятна тем, кто ее использует; у местных жителей нет никаких трудностей в понимании ее тонкостей и в применении ее гибких мер для своих собственных целей. С другой стороны, нельзя ожидать от государственных чиновников сначала объяснения, а затем применения нового набора непонятных законов для каждого юридического случая. Действительно, сама концепция современного государства предполагает значительно упрощенное и единообразное управление собственностью, которое вполне доступно пониманию и поэтому может направляться из центра.

Мое использование термина «простой» для описания современных законов о собственности, запутанность которых дает работу целой армии юридических профессионалов, вероятно, покажется чрезвычайно неуместным. Законы о собственности во многих отношениях становятся непроходимой чащей для обычных граждан. Так что использование слова «простой» в этом контексте относительно и зависит от точки зрения. Современное свободное землевладение — это владение, с которым посредничают через государство, и поэтому в нем хорошо разбираются только те, кто имеет достаточную подготовку и ясно понимает государственные законодательные акты[72]. Его относительная простота не видна тем, кто все равно не может в нем разобраться, подобно тому, как относительная ясность владения по обычаю не видна тем, кто живет вне данной деревни.

Финансовая или административная цель, к которой стремятся все современные государства, состоит в том, чтобы оценить, привести в систему и упростить землевладение во многом так же, как научное лесоводство перепланировало лес. Принятие же и использование большого разнообразия методов землевладения по обычаю было просто

немыслимо. Историческое решение, по крайней мере для либерального государства, обычно состояло в резком упрощении индивидуального землевладения. Земля принадлежит законному владельцу, который обладает широкими полномочиями использования, наследования или продажи, и это подтверждается дающим право собственности документом единого образца, обязательного для всех юридических и правоохранных государственных учреждений. Так же как флора леса была уменьшена до *Normalbaume*, так и сложные механизмы земельных соглашений в практике, принятой по обычаю, были сведены к свободно передаваемому документу права собственности на землю. В аграрном регулировании административный пейзаж покрыт единой сеткой однородной земли, каждый участок которой имеет законного владельца и, следовательно, налогоплательщика. Тогда оценивать такую собственность и определять ее владельца на основе площади земли в акрах, класса почвы, культур, которые обычно сеются, и предполагаемого урожая становится много проще, чем распутывать паутину общинной собственности и смешанных форм владения.

Венчающий экспонат этой выставки могущественных упрощений — кадастровая карта. Выполненная специалистами-землемерами в заданном масштабе кадастровая карта есть более или менее полная и точная схема всех земельных владений. Так как основной целью создания карт было создание управляемого и надежного способа налогообложения, оно связывалось с регистром собственности, в котором каждый (обычно пронумерованный) участок на карте принадлежал собственнику, ответственному за уплату налогов с земли. Кадастровая карта и регистр земельной собственности были необходимы для земельного налогообложения так же, как карты и таблицы были необходимы ученым-лесоведам для разработки плана финансовой эксплуатации леса.

Почти состоявшийся сельский свод законов

Правителям послереволюционной Франции пришлось противостоять сельскому обществу, отношения в котором почти непостижимо сплетались под влиянием феодальных и революционных порядков. Было невероятно, чтобы они смогли разобраться в этих сложностях, не говоря уже об их устранении. Идеологически, например, обязательства равенства и свободы противоречили общепринятым сельским договорам, подобным тем, которые использовались в ремесленных гильдиях, все еще употреблявших слова «хозяин» (*maitre*) и «слуга» (*serviteur*). Как правители новой, уже не монархической нации, они были озабочены отсутствием общей юридической структуры социальных отношений. Для некоторых новый гражданский кодекс, распространяющийся на всех французов, казался достаточным[73]. Но для буржуазных владельцев сельской собственности, которые не меньше своих соседей-дворян были напуганы мятежами революции, Великим террором, да и вообще агрессивностью ободренного и независимого крестьянства, подробный *сельский свод законов* казался необходимым для гарантии их безопасности.

В конечном итоге никакой послереволюционный сельский свод законов не понравился победившей коалиции, несмотря на поток Наполеоновских кодексов, принятых почти во всех других странах. Для нас же история этой патовой ситуации чрезвычайно поучительна. Первый проект кодекса, который разрабатывался между 1803 и 1807 гг., уничтожил бы наиболее традиционные права (такие, как общие пастбищные земли и право свободного

прохода через чужую собственность) и по существу изменил бы сельские отношения собственности в свете буржуазных прав собственности и свободы заключения договоров[74]. Хотя предложенный кодекс законов был переломным и даже послужил прототипом современного французского законодательства, многие революционеры выступили против него, так как боялись, что умеренный либерализм кодекса позволит крупным землевладельцам воссоздать феодализм в новом облике[75].

Затем Наполеон приказал пересмотреть документ, возложив контроль за этим на Жозефа Верне Пьюрассо. Одновременно депутат Лалуэт предложил сделать как раз то, что я считал невозможным в моем гипотетическом примере. А именно систематизировать все местные методы, классифицировать и кодифицировать их, а затем санкционировать их декретом. Этот декрет и стал бы сельским кодексом. Две трудности не позволили этой на первый взгляд удачной схеме представить народным массам сельский кодекс, который просто отражал бы существующие отношения. Первая трудность была в принятии решения, какой из аспектов буквально «бесконечного разнообразия» сельских производственных отношений должен быть представлен и кодифицирован[76]. Даже в одной местности методы сильно различались от фермы к ферме и менялись во времени, любая кодификация была бы частичной, произвольной и искусственно статичной. Таким образом, кодификация местных методов была бы глубоко политическим актом: местная аристократия оказалась бы способна санкционировать свои предпочтения под эгидой закона, в то время как остальные потеряли бы права по обычаю, от которых они зависели. Вторая трудность состояла в том, что план Лалуэта был смертельной угрозой всей государственной централизации и экономической модернизации, для которых четкий национальный режим собственности был предварительным условием прогресса. Как отмечает Серж Абердам, «проект Лалуэта вызвал бы в точности то, чего Мерлин де Дуай и буржуазные революционные юристы всегда стремились избежать»[77]. Ни кодекс Лалуэта, ни кодекс Верне не были приняты, потому что они, подобно своему предшественнику в 1804 г., казались разработанными для усиления власти землевладельцев.

Запутанность форм общинного землевладения

Как мы уже отмечали, государства эпохи премодерна и раннего модерна при сборе налогов больше имели дело с общинами, чем с отдельными людьми. Некоторые сугубо индивидуальные налоги, вроде печально известной русской «подушной подати», собиравшейся со всех подданных, платились непосредственно общинами или косвенно через тех помещиков, которым они принадлежали. Неспособность внести необходимую сумму обычно вела к коллективному наказанию[78]. Единственными сборщиками налогов, которые регулярно доходили до каждой семьи и обрабатываемой ею земли, были местная знать и духовенство, взимавшие с жителей феодальные пошрины и церковную десятину. Государство же не имело ни административных рычагов, ни необходимой информации, чтобы добраться до этого уровня.

Ограниченность государственной информации была частично обусловлена сложностью и разнообразием местного производства. Однако это была не самая важная причина. При коллективной форме налогообложения местные чиновники были заинтересованы в искажении информации для сведения к минимуму местного налога и бремени воинской

повинности. Для этого они могли уменьшать численность местного населения, систематически преуменьшать площадь обрабатываемой земли в акрах, скрывать последние коммерческие доходы, преувеличивать потери урожая от бурь, засух и т. д.[79]. Цели кадастровой карты и земельного регистра как раз и состояли в том, чтобы устранить эти финансовые пережитки феодализма и обеспечить денежный доход государства. Так же, как ученый-лесовод нуждался в инвентаризации деревьев, чтобы понимать коммерческий потенциал леса, так и финансовому реформатору была необходима детальная опись земельных владений для понимания максимального и реального годового дохода с урожая[80].

Государство осмелилось бросить вызов сопротивлению местной знати и элиты и попыталось составить полную кадастровую опись финансовых ресурсов (что отнимало массу времени и вообще было дорогостоящим мероприятием), но оно встретилось также и с другими сложностями. В частности, некоторые общинные формы землевладения просто не могли быть адекватно представлены в кадастровой форме. Сельские жители, например, в Дании в XVII и начале XVIII в. были организованы в общину, члены которой имели определенные права в использовании местной пашни, отходов и лесных угодий. В такой общине было невозможно привязать определенное хозяйство или человека к кадастровой карте. Крупная норвежская ферма (gard) имела те же проблемы. Каждое хозяйство имело права на определенную долю стоимости фермы (skyld), но не на участок земли; никто из объединенных владельцев не мог назвать какую-то часть фермы своей[81]. Пахотную землю каждого сообщества можно было оценить и, сделав некоторые предположения относительно урожая и потребностей пропитания, достигнуть разумного налогового обложения, но крестьяне получали значительную часть средств к существованию с общинных земель, ловя рыбу, пользуясь лесом, охотясь, собирая смолу и заготавливая древесный уголь. Контроль этого вида доходов был практически невозможен. Не смогли бы решить проблему и грубые оценки стоимости общинных земель, потому что жители близлежащих деревень часто пользовались общинной землей друг друга (несмотря на то, что такая практика была вне закона). В таких общинах способ производства был просто несовместим с предположением об индивидуальном земельном хозяйстве, подразумеваемом в кадастровой карте. Утверждалось, хотя это было вовсе не очевидно, что общинная собственность менее продуктивна, чем индивидуальная[82]. Однако доводы государства против общинных форм землевладения были основаны на справедливом наблюдении, что в финансовом отношении такие формы очень запутанны, а, значит, финансово менее продуктивны для государства. Это скорее было попыткой, подобно неудачной попытке Лалуэтта, привести карту в соответствие с реальностью, в целом же было принято историческое для государства решение обложить налогом систему собственности в соответствии с финансовой схемой.

Пока общинная собственность была богатой, но не имела в сущности никакой финансовой ценности, запутанность форм ее владения не была проблемой. Но в тот момент, когда она оскудела (когда «природа» стала «природными ресурсами»), она стала предметом законных прав собственности государства или граждан. В этом смысле история собственности означала неумолимое отчуждение в систему собственности того, что когда-то считалось бесплатными дарами природы: леса, дичь, пустоши, степи, природные ископаемые, вода и ее течение, права на воздух (над строениями или земельными участками), воздух для

дыхания и даже генетическое потомство. В случае общинной собственности сельхозугодий навязывание индивидуальной земельной собственности специально не разъяснялось местным жителям — принятая по обычаю система прав всегда была достаточно ясна им, как была ясна и налоговому инспектору, и продавцу Земли. Кадастровая карта добавляла документальные сведения государственной власти и тем самым обеспечивала основание для прогноза государственного и межрегионального рынка земли[83].

Чтобы пояснить процесс установления новой, более четкой системы собственности, воспользуемся примером того, как в двух дореволюционных российских деревнях государство попыталось создать индивидуальное землевладение и поддерживать его сельскохозяйственный рост и административное подчинение. Сельская Россия, даже после отмены крепостного права в 1861 г., представляла собой образец финансовой неразберихи. Преобладали общинные формы землевладения, и государство имело слабое представление о том, кто какие наделы земли обрабатывал и какими были урожаи и доход.

Деревня Новоселок пользовалась различными способами возделывания земли, ведения животноводства и лесоводства, а деревня Хотиница была ограничена в обработке земли и животноводстве (рис. 3 и 4). Сложная путаница наделов должна была гарантировать, что все деревенские хозяйства получают полосу земли в каждой экологической зоне. Индивидуальное хозяйство могло иметь 10—15 различных участков, дающих некоторое представление об экологических зонах и микроклимате деревни. Распределение разумно подстраховывало семью от риска, а земля время от времени перераспределялась, поскольку состав семей уменьшался или увеличивался[84].

Этого было достаточно для работы кадастрового инспектора. На первый взгляд казалось, что самой деревне понадобится штат профессиональных инспекторов, чтобы сделать все правильно. Но на практике система, названная чересполосицей, была весьма проста для тех, кто жил на земле. Наделы земли обычно были прямыми и параллельными, так что для перераспределения было достаточно переместить маленькие колышки вдоль только одной стороны поля без измерения площади. Там, где другой конец поля отклонялся от параллельности, колышки можно было переместить, компенсируя тем самым факт расширения или сужения к концу поля. Поля неправильной формы делились не по площади, а по урожаю с них. На посторонний взгляд — и, конечно, на взгляд тех, кто был вовлечен в составление кадастровых карт, — способ казался замысловатым и нерациональным. Но для тех, кто был с ним знаком, он казался достаточно простым и давал превосходные результаты.

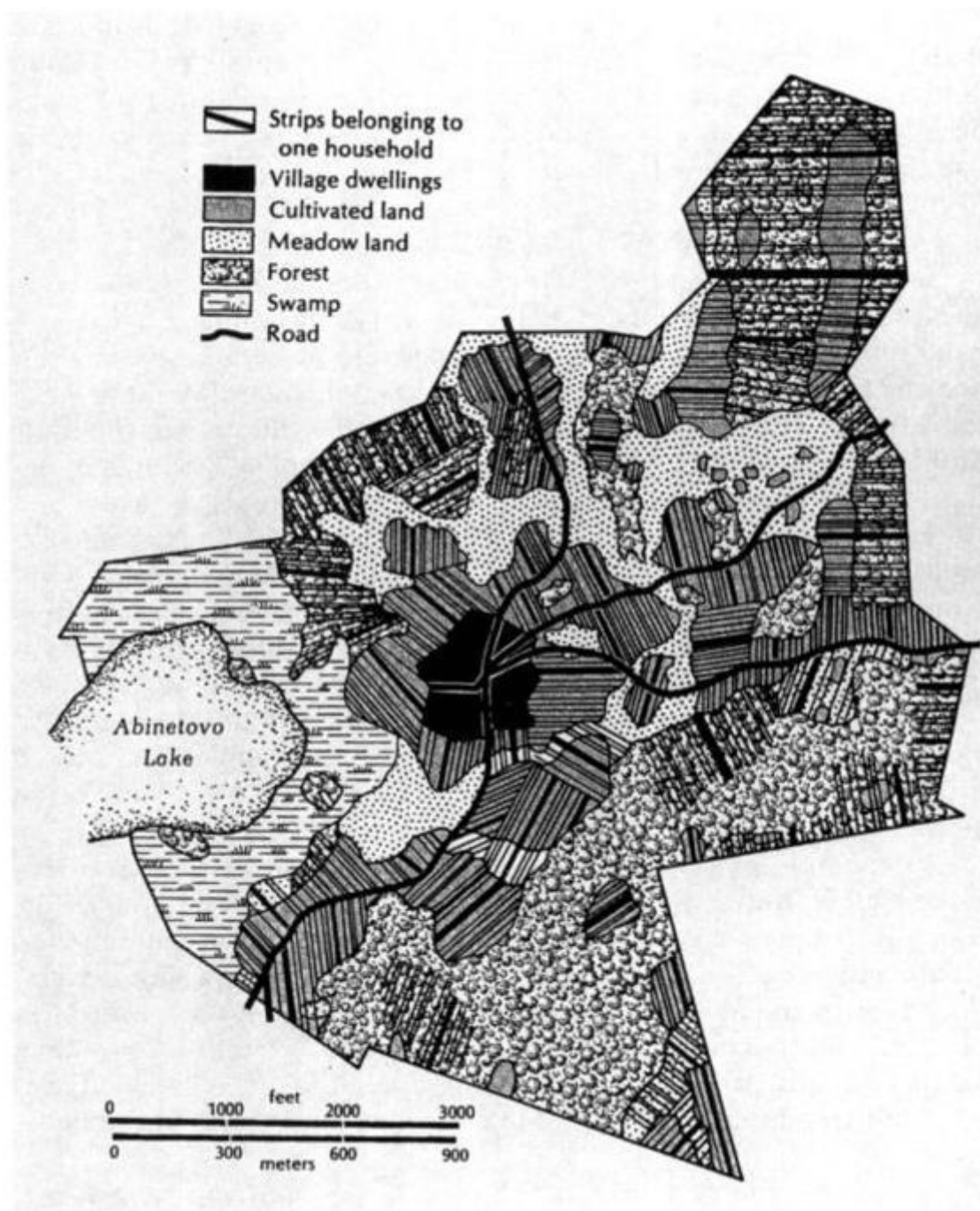


Рис. 3. Деревня Новоселок перед столыпинской реформой

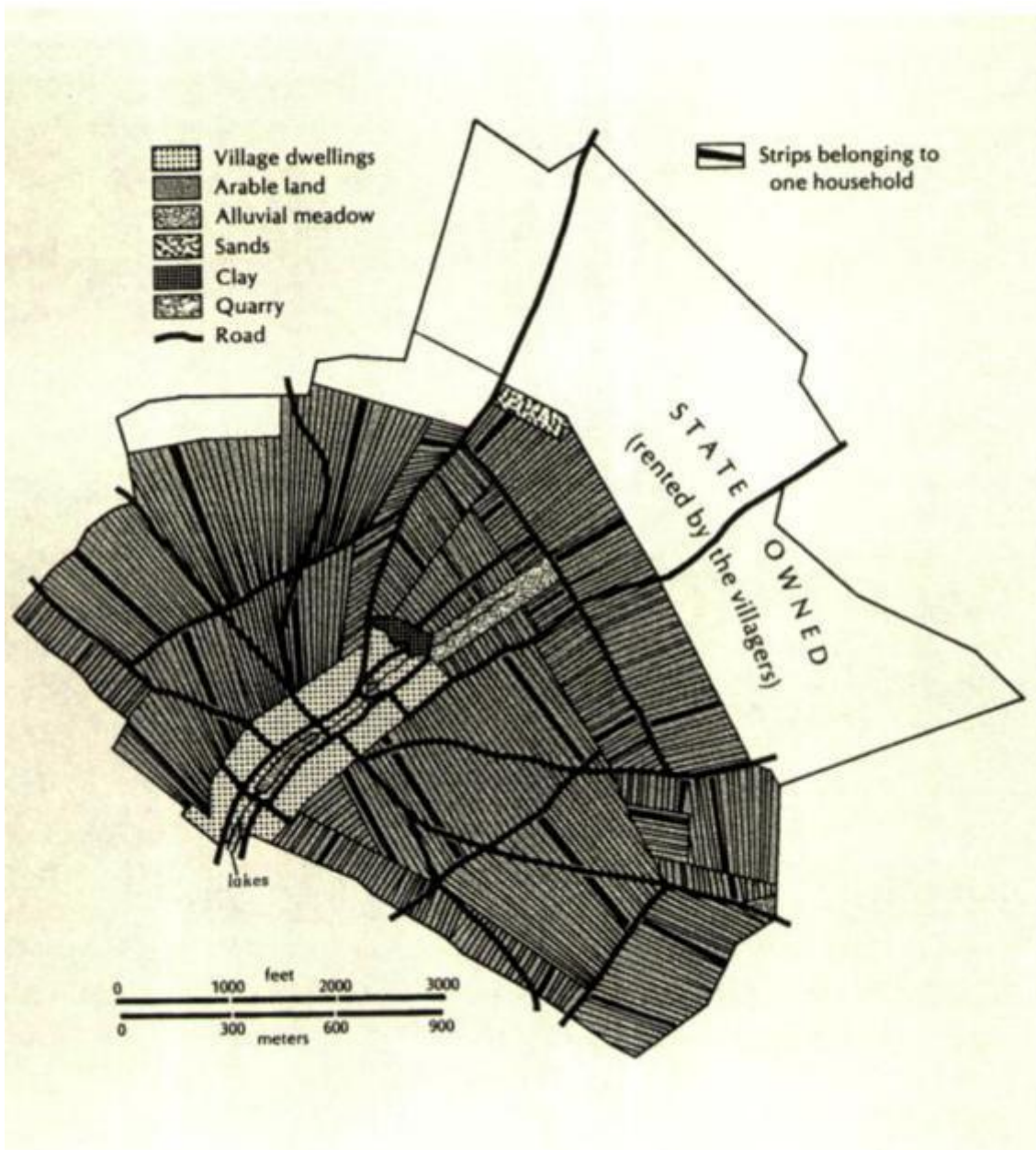


Рис. 4. Деревня Хотиница перед столыпинской реформой

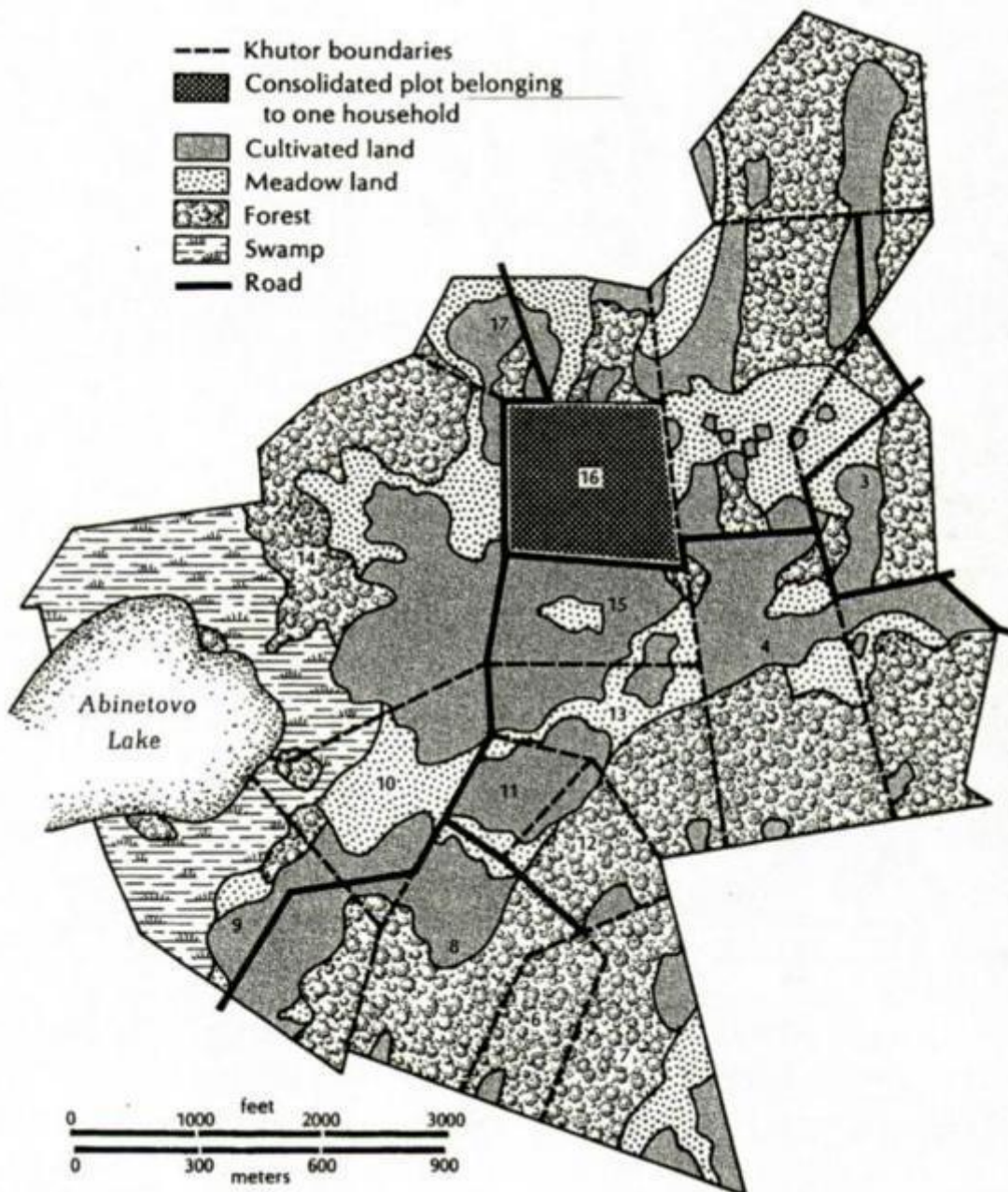


Рис. 5. Деревня Новоселок после столыпинской реформы

Мечтой государственных чиновников и аграрных реформаторов — по крайней мере, начиная с отмены крепостного права, — было преобразование системы неогороженных участков в комплексы объединенных, независимых ферм с земельными участками и необходимыми службами по западноевропейским моделям. Они были ведомы желанием побороть власть общин над индивидуальным домашним хозяйством и двигаться от коллективного налогообложения всей общины к налогу на индивидуального арендатора. Как и во Франции, финансовые цели были сильно связаны с господствовавшими идеями о сельскохозяйственном прогрессе. При графе Сергее Витте и Петре Столыпине, отмечает Джордж Йени, планы реформирования отражали общий взгляд на то, как обстояли дела в деревнях и как они должны были обстоять: «Первая картинка: деревни, полные бедных крестьян, страдающих от голода, сталкивающихся друг с другом плугами на своих крошечных полосках. Вторая картинка: сельскохозяйственный специалист увозит

нескольких прогрессивных крестьян на новые земли, предоставляя остающимся больше места. Третья картинка: переехавшие крестьяне, освобожденные от несносных полос, основывают хутор (комплекс ферм с необходимыми службами и жилищами) на новых землях и применяют новейшие методы. Те же, кто остался, освобождаются от общинных и домашних пут, решительно погружаются в требуемую экономику — все богаче, все плодотворнее, города накормлены, крестьянство не пролетаризируется»[85]. Было вполне ясно, что предвзятое мнение о чересполосице в основном базировалось на независимости российской деревни, ее непонятности для посторонних, на неприятии ею чуждой догмы, господствовавшей в сельском хозяйстве, как это и было на самом деле, по неопровержимому свидетельству[86].

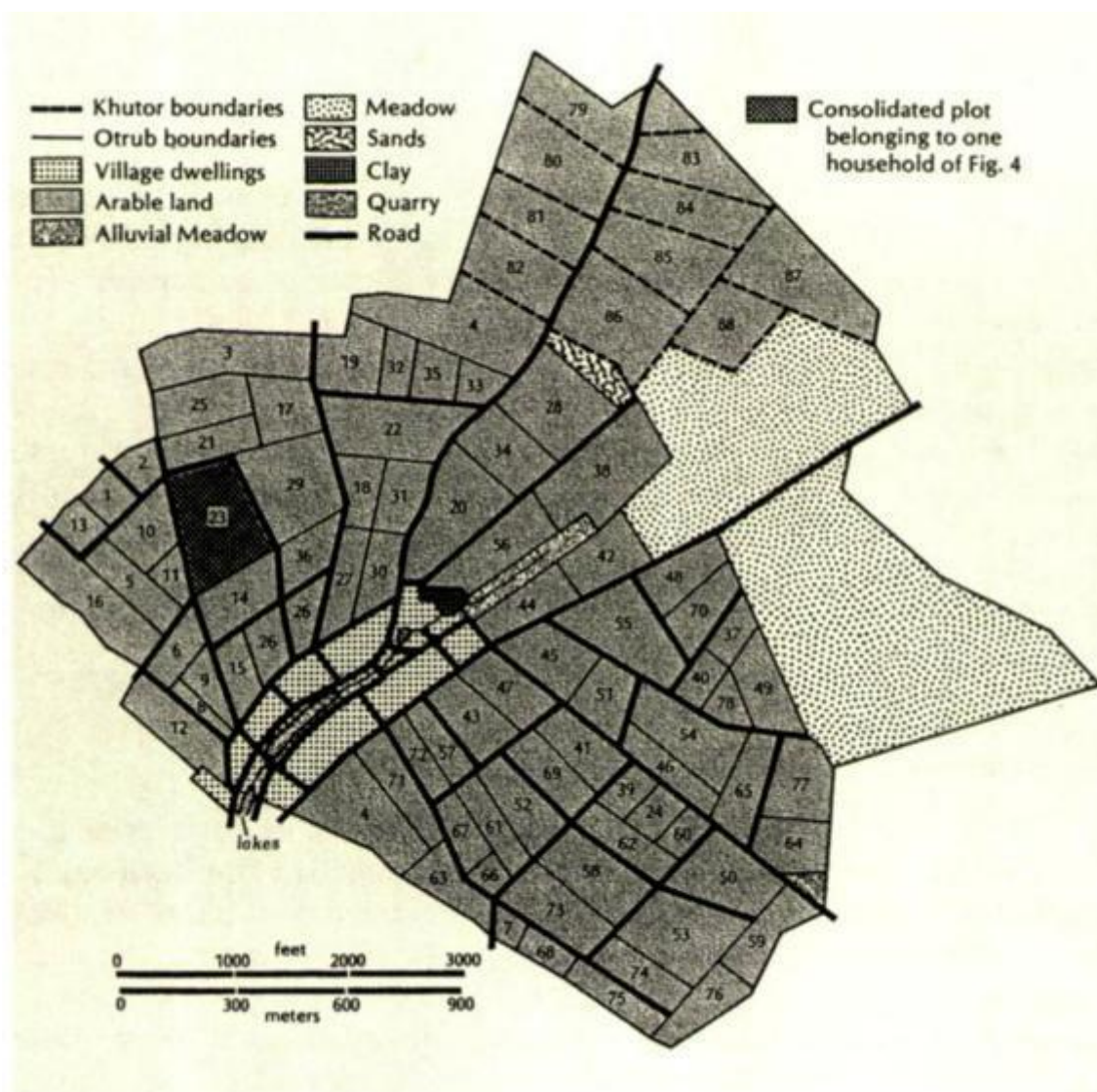


Рис. 6. Деревня Хотиница после столыпинской реформы.

Государственные чиновники и аграрные реформаторы логично рассуждали, что крестьянин, получив однажды закрепленный за ним частный участок, захочет разбогатеть, эффективно организует свое хозяйство и возьмется за его научное ведение. Поэтому столыпинская реформа плавно продвигалась вперед, и кадастровый порядок был введен для обеих деревень вслед за реформой (рис. 5 и 6).

В деревне Новоселок были организованы 17 независимых ферм (хуторов) таким способом, что каждому хозяйству досталась доля лугов, пашни и леса. В деревне Хотиница было организовано 10 хуторов, а также 78 ферм (отруб), чьи владельцы продолжали жить в центре деревни. Как кадастровые объекты новые фермы были нанесены на карту, легко распознавались на ней и, так как каждая принадлежала определенному человеку, были оценены для обложения налогом.

Взятые порознь, карты, показанные на рис. 5 и 6, вводят в заблуждение. Такие образцовые деревни предполагают квалифицированные кадастровые команды, старательно выполняющие свою работу по всей сельской местности и превращающие неогороженный хаос в опрятные освещенные фермы. В действительности было нечто другое. Мечта об образцовых прямоугольных полях почти что воплощалась лишь на вновь заселяемых землях, где землемеры сталкивались с незначительными географическими и социальными помехами[87]. В других местах реформаторам, как правило, мешали, хотя государство оказывало огромное давление для организации комплексных ферм. Фактически существовали никем не разрешенные объединения крестьян; встречались и «объединения на бумаге», в которых новые фермеры продолжали возделывать свои наделы, как раньше[88]. Лучшим свидетельством того, что сельскохозяйственная собственность не стала четкой по структуре для налоговых чиновников в центре, была чрезвычайно разрушительная политика реквизиций, проводимая царским правительством во время Первой мировой войны. Никто не знал, каким должен быть разумный налог на зерно или зерновые отходы для скотины; в результате некоторые фермеры были разорены, в то время как другие сумели скопить зерно и увеличить поголовье домашнего скота[89]. Тот же эксперимент с принудительным захватом без соответствующих знаний ведения земледелия и получения дохода с него был повторен снова после Октябрьской революции в период военного коммунизма[90].

Кадастровая карта как объективная информация для посторонних

Ценность кадастровой карты для государства в ее абстрактности и универсальности. В принципе один и тот же объективный стандарт может применяться для всей нации, независимо от местной ситуации, для разработки полной и однозначной карты всей земельной собственности. Завершенность кадастровой карты связана, что любопытно, с ее абстрактной схематичностью, ее слабость — недостаточная проработанность деталей. Взятая сама по себе, она представляет, по существу, геометрические границы — разделы между участками земли. То, что лежит внутри участка, остается пустым — неуточненным: это и неуместно на карте, дающей только план.

Конечно, знание очень многого об участке земли гораздо важнее, чем расположение его границ. Потенциальный покупатель в первую очередь мог бы поинтересоваться типом почвы участка, что можно на нем выращивать, насколько трудно его обрабатывать и насколько участок близок к рынку. Такие же вопросы захотел бы задать и налоговый чиновник. С точки зрения покупки физические измерения мало существенны. Но они могут стать важными (особенно для государства) после того, как на изображении территории, где

они находятся, указаны местоположение участков и их размеры. В отличие от этих данных ответы на остальные вопросы связаны со сложными суждениями, которые можно подтасовать и которые зависят от севооборота и условий культивирования: могут появиться новые машины для обработки земли и измениться местоположение рынков. В противоположность этому кадастровый отчет точен, схематичен, всеобъемлющ и единообразен. Какими бы ни были другие его недостатки, он является предпосылкой налоговой системы, исчерпывающе связывающей каждый кусок земли с его владельцем — налогоплательщиком[91]. В этом плане в отчете об исследовании земельного налогообложения в Нидерландах в 1807 г. (инспирированном наполеоновской Францией) было подчеркнуто, что все инспекторы должны использовать одинаковые единицы измерения, их инструменты для гарантии соответствия должны периодически проверяться и все карты должны быть составлены в едином масштабе 1:2,880[92].

Земельные и в особенности кадастровые карты предназначены для того, чтобы разъяснить постороннему локальное местоположение. Для чисто местных целей кадастровая карта не нужна. Каждый, кто владел, скажем, лугом у реки, знал цену скошенного с него фуража, феодальные пошлины на этот луг; не было никакой необходимости в данных о его точных размерах. Солидное имение могло иметь словесную карту (*terrier*), пример которой можно найти в старых документах («от большого дуба на север 120 футов к берегу реки, отсюда...»), с перечнем обязательств владельца имения. Тот, кто вообразит, что такой документ представляет для молодого наследника какую-то ценность, просто недостаточно знаком с управлением имением. Но, видимо, такая карта вошла в употребление тогда, когда развился оживленный рынок земли. Таким образом, Нидерланды стали лидером в земельной картографии ввиду ранней коммерциализации страны и ввиду того, что каждый, кто вкладывал капитал в осушение земли ветряной мельницей, хотел точно и наперед знать, на какой участок новой земли он будет иметь право. Карта была особенно важна для новых владельцев земельных угодий, так как она позволяла им оценить большую территорию на глаз. Ее миниатюрность помогала служить памяткой, когда собственность состояла из маленьких участков или владелец не был детально знаком с территорией. Уже в 1607 г. английский инспектор Джон Норден продает свои услуги по составлению карты аристократии на том основании, что она для них заменит инспекционную поездку: «Чертеж, верно отображающий истину, так живописует образ поместья, каждого уголка и каждой части его, что лорд, сидящий в своем кресле, кинув на него быстрый взгляд, может знать, что он имеет, где и как это располагается, для чего нужно целое и каждая деталь»[93]. Национальная налоговая администрация требует той же логики: четкой бюрократической формулы, которую новый чиновник может быстро уяснить и в дальнейшем управлять с помощью документов из своего офиса.

Что отсутствует на этой картине?

“ Административный чиновник признает, что мир, который он воспринимает, есть сильно упрощенная модель шумного и крикливого беспорядка, который представляет собой реальный мир. Он доволен этим упрощением, поскольку уверен, что настоящий мир в основном пуст, — большинство фактов

реального мира не имеет никакого отношения к любой конкретной ситуации, которая стоит перед ним, — и что наиболее существенные цепи причини следствий коротки и просты.

Герберт Саймон

Исайя Берлин в своем исследовании творчества Толстого приводит сравнение ежа, который знал «одну большую вещь», с лисой, которая знала много разных вещей. Ученые-лесоводы и чиновники, занимающиеся кадастровыми делами, подобны этому ежу. Узкоспецифический интерес ученых-лесоводов к коммерческой древесине и кадастровых чиновников к доходу с земли принуждает их находить четкие ответы на единственный вопрос. Натуралист и фермер, напротив, подобны лисе. Они очень много знают об обрабатываемой земле и лесах. И хотя диапазон знаний лесника и кадастрового чиновника гораздо уже, мы не должны забывать, что их знания систематизированы и прогностичны, они позволяют им видеть и понимать вещи, недоступные пониманию лисы[94]. Однако я хочу подчеркнуть, что это знание получено за счет довольно статичного и близорукого взгляда на землевладение.

Кадастровая карта сильно напоминает фотокадр речного потока. Она указывает расположение приобретенных в собственность участков земли в тот момент, когда проводилось инспектирование. Но поток постоянно в движении, а в периоды больших социальных переворотов кадастровый отчет замораживает картину очень бурных перемен[95]: участки земли дробятся или объединяются при наследовании или покупке; появляются новые каналы, шоссе и железные дороги; изменяется использование земли и т. д. Поскольку эти частные изменения непосредственно затрагивают налоговые оценки, предусмотрено отмечать их на карте или заносить в титульный список. Накопление аннотаций и заметок на полях в конце концов делает карту неразборчивой, после чего должна быть составлена более современная, но тоже статическая карта, и процесс повторяется.

Никакая действующая система земельного дохода не ограничивается простой идентификацией собственности участка. Чтобы оценить возможное налоговое бремя, нужно взять еще и другие схематические данные, сами по себе статичные. Землю можно оценивать типом почвы, условиями полива, культурами, которые произрастают на ней, предполагаемым средним урожаем, который часто определяется выборочной уборкой. Эти данные сами по себе изменяются или берутся в среднем, что может скрывать большие расхождения. Подобно застывшему стоп-кадру, кадастровые карты со временем становятся все более нереалистичными и должны вновь уточняться.

Эти государственные упрощения всегда статичнее и схематичнее, чем стоящие за ними в действительности социальные явления. У фермера едва ли когда-нибудь бывает средний урожай, средний ливень или средняя цена на произведенную продукцию. Богатая история налоговых бунтов в сельской Европе начала Нового времени, да и в других местах по большей части объясняется несоответствием между жесткими финансовыми требованиями налоговых служб, с одной стороны, и значительными колебаниями в готовности сельского населения выполнить эти требования, с другой[96]. Но и самая беспристрастная, исполненная благих намерений система налогообложения может функционировать только

на основе твердо установленных единиц измерений и схем расчетов. Она способна отражать реальную сложность деятельности фермера не больше, чем схемы ученого-лесоведа отражают сложную картину реального леса, доступную натуралисту[97].

Управляемое практической конкретной целью кадастровое «око» игнорировало все находящееся вне его резко очерченного поля зрения. Это выражалось в потере деталей в самом отчете. Инспекторы, как определил недавно один шведский исследователь, чертили поля более правильной геометрической формы, чем они были на самом деле. Игнорирование небольших неровностей и изгибов облегчало их работу, существенно не влияя на результат[98]. Как и коммерческий лесник, позволявший себе упускать из виду менее значительные лесные продукты, чиновник, занимающийся вопросами кадастрового отчета, не обращал внимания на все аспекты, кроме главного — коммерческой выгоды от поля. Тот факт, что место, обозначенное как поле для выращивания пшеницы или фуража, может быть также важным источником собранной после жатвы соломы для подстилки скоту, что там растут грибы, что там могут жить кролики, птицы и лягушки, не то, что был неизвестен, но умышленно замалчивался во избежание напрасного усложнения прямого административного руководства[99]. Наиболее значительным примером близорукости было то обстоятельство, что в кадастровой карте и оценивающей системе учитывались только размеры земли, ее ценность рассматривалась как актив, дающий прибыль, или как товар для продажи. Любая ценность земли, которую она могла иметь для пропитания или для местной экологии, считалась эстетической, ритуальной или сентиментальной.

Преобразование и сопротивление

“Кадастровая карта — инструмент контроля, который и отражает, и укрепляет власть тех, кто уполномочен на это....Кадастровая карта — хороший помощник, с ней знание — сила, она обеспечивает всестороннюю информацию, которая создает преимущества для одних и ущерб для других, что хорошо осознавали правящие и управляемые в налоговой борьбе в XVIII и XIX веках. Наконец, кадастровая карта активна: описывая одну только правду, как заселение Нового Света или Индии, она помогает устранить старое.

Роджер Дж. П. Кэйн и Элизабет Бэйджент. Кадастровая карта

Приемы кратких записей, с помощью которых налоговые чиновники должны оценивать действительность, — не просто инструменты наблюдения. С помощью своего рода финансового принципа Гейзенберга они часто влияют на изучаемые факты.

Налог на «дверь и окно», установленный во Франции во времена Директории и отмененный только в 1917 г. может служить показательным примером[100]. Его создатель, вероятно, рассудил, что число дверей и окон в жилище должно быть пропорциональным размеру жилья. Таким образом, налоговому чиновнику не было нужды заходить в дом или обмерять его, а достаточно просто сосчитать двери и окна. Этот блестящий ход, простой и легко осуществимый, не остался без последствий. Впоследствии дома крестьян строились или

переделывались с учетом налога так, чтобы было как можно меньше отверстий. Финансовые потери от этого можно было возместить увеличением налога на упомянутые окно и дверь, а длительное влияние на здоровье сельского населения продолжалось более столетия.

Новая, установленная государством форма землевладения была гораздо более революционна, чем налог на дверь и окно. С ней в жизнь вошли новые ведомственные связи. Как ни была проста и единообразна новая система владения для административного управленца, сельских жителей она волей-неволей погружала в мир документов на права собственности, земельных учреждений, платежей, налоговой оценки имущества и заявлений. Они столкнулись с облеченными властью новыми специалистами — земельными клерками, инспекторами, судьями и адвокатами, чьи правила ведения дел и принятия решений были им незнакомы.

В колониях, где новая система владения устанавливалась чужеземными завоевателями, использующими непонятный язык и свой ведомственный контекст, где местная практика землевладения не имела никакого сходства с индивидуальным владением, последствия были далеко идущими. Например, в Индии долговременная колонизация создала новый класс никогда не живших здесь прежде людей, которые стали полными владельцами с правами наследования и продажи собственности только благодаря тому, что они платили налоги на землю[101]. В то же время буквально миллионы земледельцев, арендаторов и разнорабочих потеряли свои освященные обычаем права доступа к земле и ее продукции. Те же, кто первым проник в тайны управления новой собственностью в колониях, получили уникальные возможности. Таким образом, вьетнамские секретари и переводчики, которые служили посредниками между французскими чиновниками в дельте Меконга и их вьетнамскими подданными, имели возможность сделать огромные состояния. Специализируясь на юридических документах, вроде дел о правах собственности и соответствующих платежах, они иногда становились крупными владельцами целых деревень, жители которых вообразили, будто они получили общинную землю в бесплатное пользование. Новые посредники, конечно, могли иногда использовать свои знания, чтобы благополучно провести своих соотечественников через дебри новых законов. Каково бы ни было их поведение, беглость их речи на должностном языке прав собственности, определенно предназначенном своей четкостью и ясностью для администраторов, в сочетании с неграмотностью сельского населения, для которого новая форма собственности была непонятна, вызвали важные изменения во властных отношениях[102]. То, что было просто и понятно чиновнику, окружено тайной для большинства земледельцев.

Право личной собственности на землю и нормативное измерение земли были для центрального налогообложения и рынка недвижимости тем же, что и центральная банковская валюта для рынка ценных бумаг[103]. Кроме того, они угрожали уничтожить большую часть местной власти и автономии. И неудивительно, что им пришлось встретить энергичное сопротивление. В европейской истории XVII в. любое общее кадастровое инспектирование служило определенным толчком к централизации; местное духовенство и знать были вынуждены наблюдать, как их собственные налоговые полномочия и освобождение от налогов, которым они с удовольствием пользовались, ставились под угрозу. Простые же люди, похоже, видели в нем предлог для дополнительного местного налога. Жан-Баптист Кольбер, великий «централизатор» абсолютизма, предложил провести

общенациональную кадастровую инспекцию Франции, но планы его были расстроены объединенной оппозицией аристократии и духовенства. Более чем через сто лет после революции радикал Франсуа Ноэль Бабеф в своем «*Projet de cadastre perpetual*» мечтал о совершенно равноправной земельной реформе, в которой каждый получил бы одинаковый участок земли[104]. Ему также помешали.

Мы должны иметь в виду не только возможность государственных упрощений для преобразования мира, но и способность общества изменять, ниспровергать, затормаживать и даже уничтожать навязанные сверху категории. Здесь полезно разграничить то, что могло бы называться фактами на бумаге, от истины. Как подчеркивали Солли Фолк Мур и другие, отчеты земельных учреждений могут служить основанием для налогообложения, но они имеют мало общего с фактическими правами на землю. Владельцы на бумаге могут не быть действительными владельцами[105]. Российские крестьяне, как мы видели, могли состоять в объединениях «на бумаге», продолжая на самом деле жить в чересполосице. Земельные захваты, самовольное поселение на чужой земле и вторжение, если они свершились, представляют собой осуществление де факто не записанных прав собственности. От некоторых земельных налогов и церковных десятин до такой степени уклонялись, что они стали просто записями на бумаге[106].

Пропасть между зафиксированным и реальным земельным владением на бумаге и реальными фактами, вероятно, особенно велика в моменты социальных беспорядков и восстаний. Но даже в более спокойные времена всегда есть теневая система землевладения, не отраженная учреждением земельной регистрации в официальном отчете. Не стоит даже предполагать, что местная практика может соответствовать государственной теории. Все централизованные государства признали ценность единой всеобъемлющей кадастровой карты, однако ее выполнение — это другой вопрос. Практически кадастровая картография вводилась раньше и была более обстоятельной там, где мощное централизованное государство могло навязать свою политику относительно слабому гражданскому обществу. Там, где, напротив, гражданское общество было хорошо организовано, а государство относительно слабо, кадастровая картография, часто произвольная и отрывочная, запаздывала. Таким образом, наполеоновская Франция была нанесена на карту намного раньше, чем Англия, где профессиональные юристы сумели в течение длительного времени сдерживать эту угрозу приносящей им доход практике. По этой же логике побежденные колонии, управляемые указом, часто размечались на кадастровой карте метрополии, которая заказала эту карту. Ирландия, возможно, была первой в этом ряду. После завоевания Кромвелем, как отмечает Йен Хакинг, «Ирландия была полностью проинспектирована на предмет земли, зданий, людей и скота под руководством Уильяма Петти, для того чтобы облегчить насилие над нацией англичанами в 1679 г.»[107]

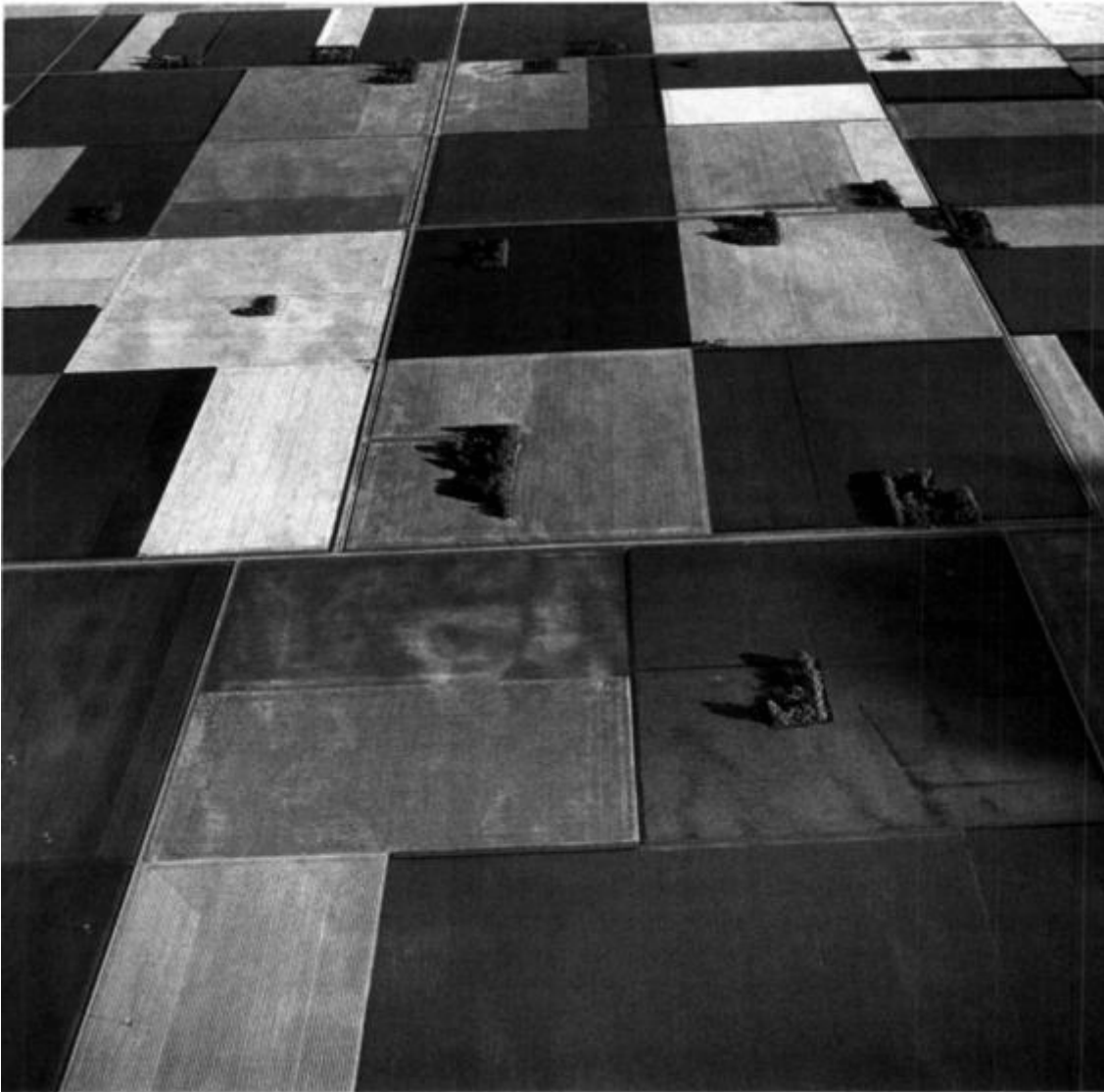


Рис. 7. Топографическая съемка пейзажа, Кастлтон, Северная Дакота

Там, где колонии были мало заселены, как в Северной Америке или в Австралии, помехи для составления полной, однородной кадастровой карты были минимальны. Там в меньшей степени стоял вопрос о нанесении на карту существовавших ранее способов использования земли, а больше о межевании земли, которая будет отдана или продана вновь прибывшим из Европы, и об игнорировании местных уроженцев и их форм общинной собственности[108].

Томас Джефферсон, увлеченный просвещенческим рационализмом, предложил деление Соединенных Штатов к западу от реки Огайо на «сотни» — квадраты, отмеряющие десять на десять миль, — и заявил о необходимости в поселенцах, которые взяли бы эти обозначенные участки земли.

Предложенная им геометрическая прямолинейность была не просто эстетическим выбором; Джефферсон утверждал, что участки неправильной формы облегчали мошенничество. Чтобы поддержать свое заявление, он напомнил опыт штата Массачусетс, где фактическое землевладение на 10% превышало данные, официально подтвержденные документами[109]. Но правильность форм плана создавала не только четкость для

налоговых властей, но и удобный и дешевый способ оформления и продажи земли в однородных единицах. Разбивка на квадраты облегчала подсчет товарной стоимости земли, а также площади участка и налогов с него. С административной точки зрения это было также обезоруживающе просто. Земля могла быть зарегистрирована и право собственности на нее могло быть получено кем-то, живущим далеко, кто по существу не имел никаких сведений о данной местности[110]. Будучи принятым, проект приобретал нечто от безличной механической логики разметки лесных участков. На практике, однако, выдача прав собственности на землю по плану Джефферсона (измененному Конгрессом так, чтобы участки были прямоугольными, площадью в 36 кв. миль) не всегда следовала предписанному образцу.

Система Торренса выдачи прав собственности на землю, примененная в Австралии и Новой Зеландии в 1860 ., давала точную копию доинспекционного плана земель, представляющую распределение участков, которые были зарегистрированы поселенцами по принципу первенства. Это было самое быстрое и наиболее экономичное средство, изобретенное когда-либо для продажи земли, позже оно было принято во многих Британских колониях. Однако более однородный и жесткий геометрический план, похоже, не мог отразить без искажений естественных особенностей существующего пейзажа. Возможности подобных неожиданностей были тонко подмечены в сатирическом стихе из Новой Зеландии:

“ Вот дорога через долину Майкла, и на карте она хороша, Но цель, которой она служит, не стоит ни гроша, Ночью тут могло случиться что угодно. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — И кочки, и ямы, и ухабы — Прямым и четким курсом там было не пройти, Спотыкались люди — да и лошади тоже — вдоль всего пути![111].

Кадастровый отчет был пока единственным методом в растущем снаряжении утилитарного государства эпохи модерна[112]. Удовлетворенное уровнем сведений, достаточных для поддержания порядка, выжимания налогов и увеличения численности армии, государство модерна все более стремилось взять на себя надзор за физическими и человеческими ресурсами, чтобы сделать их более производительными. Эти позитивные цели управления государством требовали намного большего знания общества. И логически начинать надо было с инвентаризации земли, людей, доходов, видов деятельности, ресурсов и аномалий. «Потребность становящегося все более бюрократическим государства в организации управления и контроля за ресурсами дала импульс для сбора существенной и несущественной статистики; для лесоводства и рационального сельского хозяйства; для инспектирования и точной картографии; для общественной гигиены и климатологии»[113]. Хотя цели государства и расширялись, та информация, которую оно хотело иметь, все еще была прямо связана с прежними целями. Например, Прусское государство XIX в. имело повышенный интерес к возрасту и полу иммигрантов и эмигрантов, но не к их религии или расе; для него были важны сведения о лицах, могущих уклониться от призыва на военную службу, и поддержание притока людей призывного возраста[114]. Возрастающая заинтересованность государства в производительности, здоровье, экологии, образовании, транспорте, минеральных ресурсах, производстве зерна и инвестициях была не отказом от ранних целей политического управления, а расширением и углублением этих целей,

связанных с изменениями самого общества.

2. Города, люди и язык

“ И Коллегия Картографов создала Карту Империи, по размерам равную самой Империи и совпадавшую с ней до последней точки..... Потомки же сочли эту Пространную Карту бесполезной и не без кощунства оставили ее на произвол Солнца и Холодов.

Суарес Миранда. Путешествия осмотрительных мужей. 1658.

Средневековый город или старинная часть его (*medina*), если их облик не слишком искажен временем, на аэрофотосъемке имеют специфически беспорядочный вид, точнее, они не подчинены никакой идеальной абстрактной форме. Улицы, переулки и проходы пересекаются под самыми разными углами, причем густота этой сети напоминает замысловатую сложность некоторых органических процессов. В средневековых городах, нуждавшихся для обороны в стенах и рвах, следы постепенно удалявшихся от центра стен очень напоминают годовые кольца дерева. Наглядным примером может служить вид города Брюгге (рис. 8) — типичного средневекового города купцов и текстильщиков с крепостными стенами, рынком, рекой и каналами, служившими, пока не засорились, артериями этого города.

Конечно, если город не строился по единому проекту, его структуре недостает геометрической логики, но жителей это никак не смущало. Легко представить, что большинство его мощеных улиц поначалу были пешеходными тропами. Тем, кто вырос в его кварталах, Брюгге совершенно понятен. Его переулки и закоулки отражают их обычные повседневные передвижения. Путешественник или торговец, впервые приехавший в город, наверняка заплутался бы, но лишь потому, что город лишен вторичной, абстрактной, логики, которая позволила бы пришельцу ориентироваться самостоятельно. Можно сказать, что городской пейзаж Брюгге 1500 г. дает местному знанию преимущество перед внешним, в том числе и перед внешней политической властью[115]. В структуре города это преимущество реализуется пространственно, в структуре языка оно аналогично функционированию трудного, малопонятного диалекта. Как полупроницаемая мембрана, оно облегчает его уроженцам ориентацию в городе и одновременно затрудняет ее тем, кто вырос не здесь и не владеет этим особым географическим диалектом.

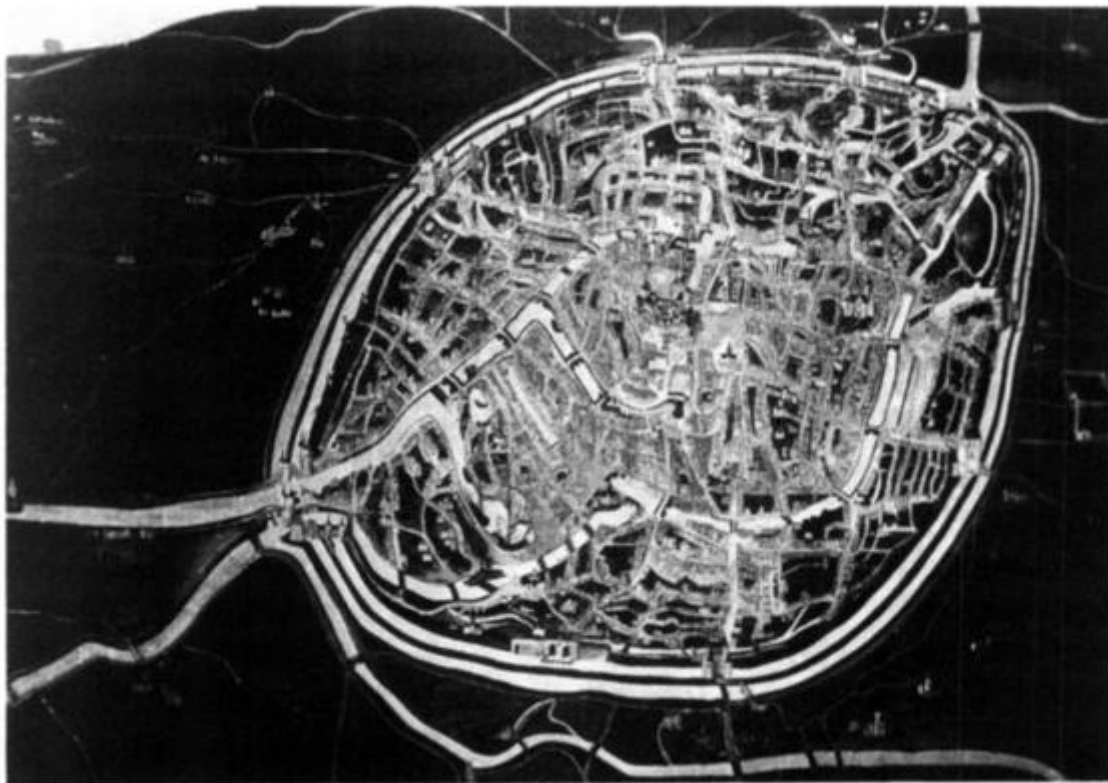


Рис. 8. Город Брюгге около 1500 г., из живописного собрания Ратуши г. Брюгге.

Исторически относительная непроходимость городских кварталов (или их загородных аналогов — холмов, болот и лесов) для пришельцев обеспечивала надежность жизненно важного рубежа — политическую независимость от внешней власти. Простейший способ определить наличие такого рубежа — спросить, сумеет ли пришелец найти здесь дорогу без проводника (уроженца этого края). И отрицательный ответ означает, что территория, на которой проживает данное сообщество, хоть в какой-то мере защищена от внешнего вторжения. В сочетании с местной солидарностью эта защита не раз доказывала свою политическую значимость в таких разноплановых исторических событиях, как городские хлебные бунты в Европе конца XIII — начала XIX в., стойкое сопротивление алжирского Фронта национального освобождения французам в Казбе[116] и политическая жизнь восточного базара, способствовавшая свержению шаха Ирана. Таким образом, невнятность местной географии для посторонних была и остается надежным ресурсом политической автономии[117].

Не решаясь перепроектировать старинные города (далее мы рассмотрим этот вопрос подробнее), государственные власти стремились хотя бы составить карты старых труднопроходимых поселений, чтобы облегчить политическое и административное управление ими. После революции подверглось тщательной рекогносцировке большинство основных городов Франции. В случае восстания в той или иной части города власть хотела обеспечить себе возможность быстрого перемещения в нужное место для эффективного подавления бунтовщиков[118].

Как и следовало ожидать, государственные власти и проектировщики городов стремились преодолеть эту пространственную неразбериху и сделать географию городов возможно

более ясной для внешнего глаза. Их отношение к кажущемуся сумбуру исторически сложившейся городской застройки мало чем отличалось от отношения лесников к естественной хаотичности природного леса. Геометрически правильные поселения (сетчатые городские структуры) уходят корнями в прямолинейную военную логику. Квадратный, упорядоченный, стандартный римский военный лагерь (*castra*) имеет много преимуществ. Солдаты легко осваивают способы его возведения; командиры отрядов точно знают расположение своих подчиненных и других отрядов; любой посыльный из Рима или чиновник, прибывающий в лагерь, точно знает, где искать нужного ему офицера. Из общих соображений понятно, что идея лагерей и городов, построенных по одной и той же схеме, как символ порядка и власти, может быть привлекательной для огромной и многоязычной империи. Не говоря уже о том, что при прочих равных условиях город, построенный по простой логике повторения, оказывается наиболее удобным для управления и охраны.

При всех политических и административных удобствах геометрически правильной городской планировки особую эстетическую ценность придала ей эпоха Просвещения, с энтузиазмом воспринимавшая прямые линии и видимый порядок. Яснее всех это отношение выразил Декарт: «Старинные города, разрастаясь с течением времени из небольших посадков и становясь большими городами, обычно *столь плохо распланированы* по сравнению с *городами-крепостями, построенными на равнине по замыслу одного инженера*, что хотя, рассматривая эти здания по отдельности, нередко находишь в них никак не меньше искусства, нежели в зданиях крепостей, однако при виде того, как они расположены — здесь маленькое здание, там большое — и как из-за них улицы искривляются и меняют свою длину, можно подумать, что это скорее дело случая, чем разумной воли людей»[119].

Представление Декарта о «хорошем» городе заставляет вспомнить о лесопосадках: прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами; здания одинаковые и по размеру, и по форме; все построено по единому плану.

Избирательное сродство между сильным государством и стереотипно спроектированным городом очевидно. Льюис Мамфорд, историк городской архитектуры, видит корни современного европейского градостроения в открытом, четком барочном стиле итальянских городов-государств. Он считает, и с ним вполне согласился бы Декарт, что «одна из великих интеллектуальных побед эпохи барокко состояла в организации пространства, в обеспечении его непрерывности, сведении его к мере и порядку»[120]. По сути, барочная перепланировка средневековых городов — с появлением огромных зданий, свободных пространств и площадей и стремлением к однотипности, пропорции и перспективе — была призвана выразить великолепие и подавляющую власть государя. Эстетические соображения нередко одерживали верх над сложившейся социальной структурой и повседневной городской жизнью. «Задолго до того, как изобрели бульдозеры, — добавляет Мамфорд, — итальянские военные инженеры освоили (благодаря их профессиональной специализации на разрушениях) навыки «бульдозерного» мышления: стереть все с лица земли и начертать на ней собственные негибкие математические линии»[121].

За видимой мощью барочного города скрывалась скрупулезная забота о военной защите государя от внутренних и внешних врагов. Так, и у Альберти, и у Палладио главные артерии

города мыслятся как военные дороги (*viae militares*), которые должны были быть прямыми. По мнению Палладио, «дороги будут тем удобнее, чем они ровнее: то есть на них не должно быть ни одного участка, где бы армии было трудно маршировать!»[122]

Конечно, на свете есть немало городов, более или менее соответствующих модели Декарта. Очевидно, что в своем большинстве они проектировались как совершенно новые, часто утопические[123]. Там, где города строились не по императорскому декрету, отцы-основатели закладывали их так, чтобы в будущем они могли вместить сколько угодно новых повторяющихся однотипных квадратов застройки[124]. Вид с птичьего полета на центр Чикаго конца XIX в. (равно подошли бы Филадельфия Уильяма Пенна или Нью-Хейвен) служит хорошим примером подобного города-сетки (рис. 9).



Рис. 9. Карта центра города Чикаго, примерно 1893 г.

С точки зрения удобства управления планировка Чикаго выглядит почти утопической. Она легко охватывается взглядом, так как состоит из многократно повторяющихся прямых линий и прямых углов[125]. Даже реки, похоже, почти не нарушают четкую симметрию города. Чужаку — или полицейскому — довольно легко найти нужный адрес, никакие проводники для этого не требуются. Осведомленность местных уроженцев не имеет никаких преимуществ перед неосведомленностью приезжих. А если к тому же, как в верхнем Манхэттене, улицы (*streets*) последовательно пронумерованы и пересекаются более длинными и тоже последовательно пронумерованными проспектами (*avenues*), то план приобретает еще большую прозрачность[126]. Сетчатая планировка города облегчает упорядочение его подземных коммуникаций — водопровода, стоков, коллекторов, электрических кабелей, газопроводов и метрополитена, что не менее важно для городских властей. Доставка почты, сбор налогов, проведение переписи, перемещение припасов и людей в город и из города, подавление восстаний и беспорядков, рытье канав для труб и

коллекторных сетей, розыск преступников или уклоняющихся от службы призывников (если они прописаны по указанному адресу), планирование общественного транспорта, водоснабжения и уборки мусора — все упрощается благодаря такой сеточной логике.

Отметим три наиболее важные особенности геометрически строгих человеческих поселений. Первая состоит в том, что их упорядоченность обнаруживается при перемещениях не столько по улицам города, сколько сверху и снаружи. Подобно участнику парада или рабочему у длинного конвейера, отдельный пешеход, находясь в центре этой сетки, не может охватить взором всю планировку города. Симметрию целого можно усмотреть либо из схемы, которую, вероятно, начертит бы и школьник, при наличии линейки и чистого листа бумаги, либо из повисшего высоко над землей вертолета, откуда смотрит на землю Бог или высшая власть. Возможно, такое пространственное соотношение изначально присуще самому процессу городского или архитектурного планирования, которое предполагает миниатюризацию и моделирование, позволяющие хозяину или проектировщику смотреть на эти модели сверху вниз, будто из окна вертолета[127]. В конце концов, действительно, ведь нет иного способа представить себе законченный крупномасштабный строительный проект, кроме как изобразить его в уменьшенном виде. Однако в результате, как мне кажется, по этим игрушечного размера макетам о пластических свойствах и визуальной организации объекта судят с таких позиций, которые мало кому из людей доступны.

Миниатюризации в виде макетов городов и пейзажей на практике может способствовать полет на самолете. Съемки с высоты птичьего полета (см. карту Чикаго) перестали быть просто картографической традицией, результатом соглашения. Аэрофотосъемка с большой высоты демонстрирует порядок и симметрию того, что на земле может казаться беспорядком. Значение самолета для современного мышления и планирования чрезвычайно велико. Задавая перспективу, сглаживающую топографические различия на земле, полет дает возможность снова стремиться к «синоптическому видению, рациональному контролю, планированию и пространственному порядку»[128].

Вторая особенность отчетливо видимой извне упорядоченности городской планировки состоит в том, что грандиозный план этого целого может не быть связанным с повседневной жизнью его обитателей. Конечно, некоторым государственным службам удобнее работать, а в некоторые отдаленные места легче попадать, но эти явные преимущества легко сводятся на нет такими постоянными недостатками, как отсутствие плотной уличной жизни, постоянный надзор со стороны властей, утрата придающих городу уют милых пространственных неправильностей, мест для неформального отдыха и чувства соседства. Строгий геометрический порядок городской планировки и не может быть ничем иным: он формален. Его видимая стройность несет ритуальные или идеологические черты, напоминающие о параде или казарме. То, что этот порядок удобен муниципальным и государственным властям, управляющим городом, вовсе не означает, что он удобен его жителям. Впрочем, не будем спешить с обсуждением вопроса об отношениях между формальным пространственным порядком и социальной жизнью.

Третий примечательный аспект гомогенной, геометрической, однородной недвижимости — ее удобство в качестве стандартизованного рыночного товара. Подобно схеме межевания

Джефферсона или предложенной Торренсом системе оформления прав собственности на вновь открываемые земли, сетка задает правильные участки и кварталы, идеальные для купли-продажи. Именно благодаря тому, что эти абстрактные единицы оторваны от какой-либо экологической или топографической реальности, они напоминают своего рода валюту, которую можно бесконечно накапливать и делить. Такая особенность сеточной планировки одинаково удобна и для инспектора, и для планировщика, и для торговца недвижимостью. В этом случае бюрократическая и коммерческая логика идут рука об руку. Как замечает Мамфорд, «красота этого механического рисунка, с коммерческой точки зрения, должна быть проста. Такой план не ставит перед инженером ни одной из тех специфических проблем, которые возникают в работе с участками неправильной формы. Даже мальчишка-посыльный сумел бы рассчитать площадь улицы или продающегося участка, даже секретарь адвоката смог бы составить купчую, просто подставив надлежащие размеры в стандартный документ. И наконец, любой городской инженер без какого-либо архитектурного или социологического образования, вооруженный лишь Т-квадратом и треугольником, сумел бы «спроектировать столицу со стандартными участками, стандартными кварталами, стандартной шириной улиц... Само отсутствие более детальной привязки к ландшафту или к человеческим целям лишь увеличивает благодаря этой неопределенности ее *повсеместное удобство для обмена*»[129].

Подавляющее большинство городов Старого Света представляют собой некий исторический сплав Брюгге и Чикаго. И хотя у политических деятелей, диктаторов и архитекторов не раз возникали планы тотальной перепланировки существующих городов, финансовая и политическая цена их замыслов оказывалась такой высокой, что они, как правило, оставались на бумаге. Частичное проектирование становится обычным. Центральное ядро многих старинных городов похоже на Брюгге, а новые предместья несут черты одного или нескольких проектов. Иногда такое несоответствие закрепляется официально, как в случае резко различных старого Дели и новой столицы Нью-Дели.

Случалось, что власти предпринимали драконовские меры для перепланировки уже существующих городов. Так, перестройка Парижа префектом Сеньбароном Хаусманном при Луи Наполеоне превратилась в грандиозную программу общественных работ, продолжавшуюся с 1853 по 1869 гг. Программа Хаусманна, поглотившая беспрецедентно много общественных средств, предусматривала насильственное переселение десятков тысяч людей и могла быть выполнена лишь единоличной исполнительной властью, не подотчетной избирателям.

Логика реконструкции Парижа напоминает логику преобразования естественно растущих лесов в научно организованные и специально предназначенные для унитарного финансового управления. И здесь мы видим тот же акцент на упрощении, четкости, прямых линиях, центральном управлении и обзорном схватывании целого. Как и в случае с лесом, план этот оказался во многом выполнен. Разница, однако, в том, что план Хаусманна был призван не столько служить финансовым целям, сколько повлиять на поведение и чувства парижан. И хотя этот план, безусловно, обеспечил столице гораздо более четкое финансовое пространство, эта четкость оказалась побочным продуктом стремления сделать город более управляемым, преуспевающим, здоровым и архитектурно импозантным[130]. Другое примечательное отличие состоит в том, что люди, насильственно выселенные из

города по плану Второй империи, могли отомстить городу и сделали это. Как мы более подробно рассмотрим далее, перестройка Парижа стала предвестником многих парадоксов позднего авторитарного модернизма в проектировании.

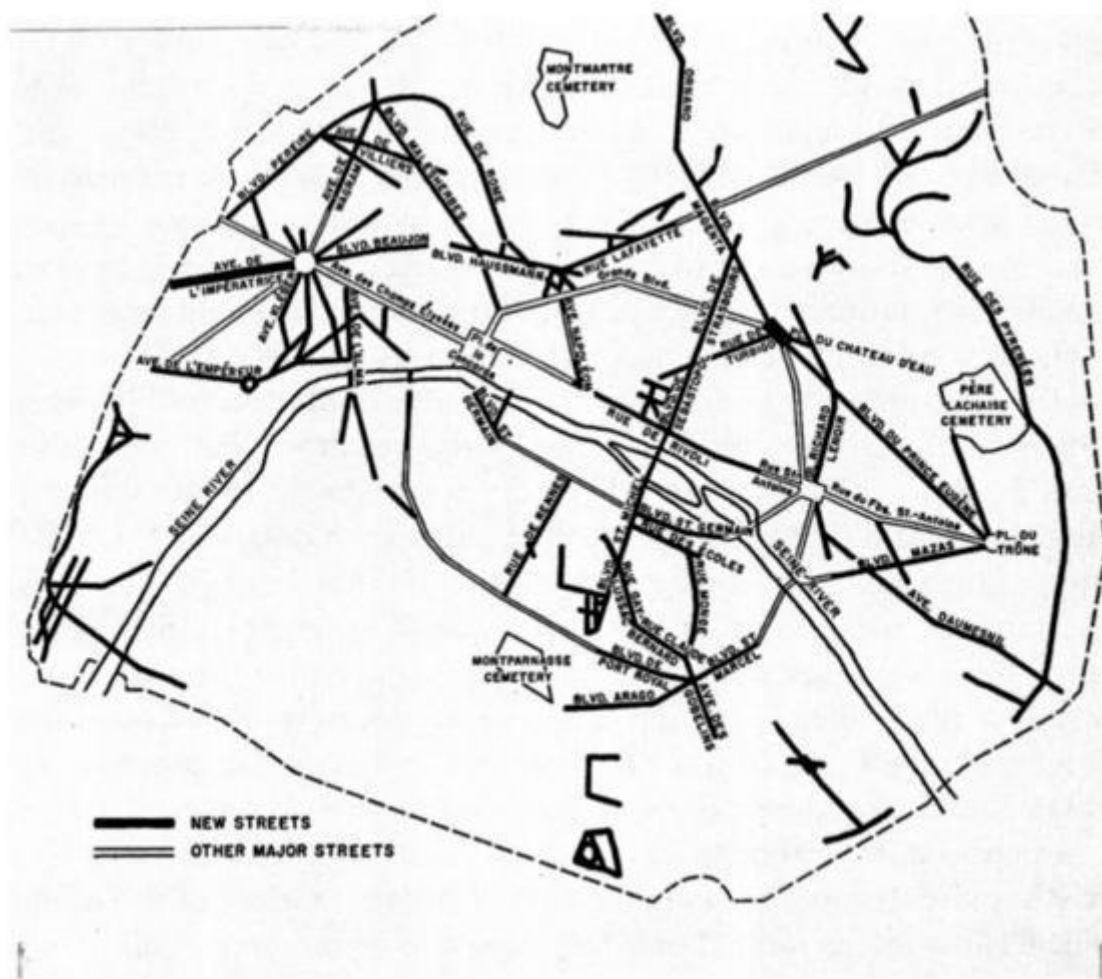


Рис. 10. Карта Парижа 1870 г., показывающая главные новые улицы, построенные между 1850 и 1870 гг.

На плане, приведенном на рис. 10, показаны и новые бульвары, построенные по стандартам Хаусманна, и дореволюционные внутренние бульвары, которые были расширены и выпрямлены[131]. Однако видеть в предпринятой реконструкции всего лишь новую карту улиц значило бы сильно недооценивать это предприятие. При всех разрушениях и огромных масштабах строительства, при всей четкости спланированных улиц новый образ Парижа нес явные следы приспособления к сложившемуся веками образу старого города. Примером могут служить внешние бульвары, следующие линии старой таможенной стены (octroi) 1787 г. Но программа Хаусманна была гораздо масштабнее, чем просто реорганизация уличного движения. Новая четкость бульваров сопровождалась изменениями, которые решительно меняли повседневную жизнь: новый водопровод, более эффективная канализация, новые рельсовые линии и новые остановки, централизованные рынки (Les Halles), газопроводы и освещение, новые парки и общественные скверы[132]. Новый Париж, созданный Луи Наполеоном, к началу нового столетия вызывал всеобщее восхищение великими результатами общественных работ, став предметом поклонения всех будущих зарубежных архитекторов.

В основе перепланировки Парижа, предпринятой Луи Наполеоном и Хаусманном, лежала военная безопасность государства. Перестройка города должна была прежде всего защитить его от народных восстаний. Как писал Хаусманн, «порядок в этой Жемчужине городов — одна из главных предпосылок общественной безопасности»[133]. За двадцать пять лет до 1851 г. баррикады воздвигались девять раз. Луи Наполеон и Хаусманн были свидетелями революций 1830 и 1848 гг., а июньские события и сопротивление перевороту Луи Наполеона стали самыми серьезными беспорядками столетия. Только что вернувшийся из изгнания Луи Наполеон хорошо понимал, сколь хрупкой может оказаться его власть.

Однако очаги бунта не были равномерно распределены по территории Парижа. Сопrotивление концентрировалось в рабочих кварталах, имевших запутанную, непрозрачную планировку — как в Брюгге[134]. Присоединение в 1860 г. «внутренних предместий» (они располагались между таможенной стеной и внешними укреплениями, там проживало 240 ~тыс. человек) было явно направлено на обеспечение контроля над *ceinture sauvage*, который до тех пор оставался вне полицейского надзора. Хаусманн описывает эту территорию как «плотный ряд предместий, находящихся в ведении 20 разных администраций, застроенных случайным образом, пронизанных невообразимой сетью узких и извилистых улиц, переулков и тупиков, где кочевое население, никак не связанное с землей [недвижимостью] и лишенное сколько-нибудь эффективного надзора, растет с чудовищной быстротой»[135]. Очаги революции обнаружались и в пределах самого Парижа: Марэ и особенно предместье Сент-Антуан стали центрами сопротивления государственному перевороту, совершенному Луи Наполеоном.

Военный контроль над этими столь опасными местами, которые тогда еще не были как следует нанесены на карту, стал неотъемлемой частью плана Хаусманна[136]. Чтобы облегчить перемещение войск между казармами, расположенными на окраине города, и непокорными районами, был предусмотрен ряд новых проспектов между внутренними бульварами и таможенной стеной. Множество рельсовых и мощеных подъездных путей связывали каждый район города с военными подразделениями, отвечающими за порядок в нем[137]. Так, новые бульвары на северо-востоке Парижа позволяли быстро перебросить войска из Курбевуа к Бастилии для усмирения беспорядков в Сент-Антуанском предместье[138]. Расположение многих новых рельсовых линий и платформ было продиктовано такого рода стратегическими задачами. Непокорные кварталы или уничтожались, или рассекались новыми дорогами, общественными территориями и торговыми центрами. Обосновывая необходимость ссуды в 50 млн франков для начала работ, Леон Фоше подчеркивал интересы государственной безопасности: «Интересы общественного порядка не меньше, чем интересы охраны здоровья, требуют, чтобы через этот район баррикад как можно скорее была проложена широкая просека»[139].

Необходимость реконструкции Парижа диктовалась и интересами здравоохранения. Меры, необходимые, по мнению гигиенистов, для оздоровления Парижа, одновременно повышали его экономическую эффективность и военную безопасность, Устарелые коллекторы и выгребные ямы, падеж 37 тыс. лошадей (1850 г.) и ненадежный водопровод делали жизнь в Париже просто опасной. Город, имевший самый высокий показатель смертности во Франции, был подвержен ужасным эпидемиям холеры: в 1831 г. болезнь унесла 18,4 тыс. человек, в том числе премьер-министра. Она особенно бушевала в районах революционного

сопротивления, где из-за скученности и антисанитарии смертность была самой высокой[140]. Париж Хаусманна (для тех, кого не выслали) стал более здоровым городом: улучшение циркуляции воздуха и воды, открытость улиц солнечному свету снижали опасность эпидемий — так же, как улучшение оборота товаров и рабочей силы (к тому же более здоровой рабочей силы) повышало экономическое благосостояние города. Так утилитарная логика эффективности труда и коммерческого успеха соединялась со стратегическими интересами и нуждами здравоохранения.

Решающую роль в реконструкции Парижа сыграли и политико-эстетические вкусы самого Луи Наполеона, движущей силы этого предприятия. Назначая Хаусманна префектом Сены, Луи Наполеон вручил ему карту, предусматривавшую центральный рынок, Булонский лес и многие улицы, которые со временем были построены. Нет сомнения, что в основе планов Луи Наполеона лежали идеи сен-симонистов из утопического журнала «Глоб» и образцовые городские общины, описанные Фурье и Кабэ[141]. Их грандиозные проекты подогревали его собственное стремление сделать обновленную столицу символом величия его режима.

Как это часто случается с авторитарными проектами модернизации, политические вкусы правителя время от времени входили в противоречие с чисто военными и функциональными задачами. Прямолинейные улицы были, конечно, очень хороши для переброски войск на борьбу с повстанцами, но при этом они должны были украситься изящными фасадами и оканчиваться внушительными зданиями, производящими должное впечатление на путешественников[142]. Однотипные современные здания на новых бульварах могли бы обеспечить граждан более здоровым жильем, но чаще всего это была лишь видимость. Строительные инструкции касались почти исключительно видимых поверхностей зданий, а за этими фасадами можно было разместить массу переполненных, душных клетушек для сдачи в аренду, что многие подрядчики и делали[143].

Новый Париж, как отмечает Т.Дж.Кларк, воплотил желаемый образ: «Цель Хаусманна отчасти состояла в том, чтобы придать современности форму, и эта цель, похоже, была с успехом достигнута; он создал ряд форм, в которых город стал внятными, удобочитаемым: Париж, таким образом, приобретал черты искусно выстроенной декорации к спектаклю»[144].

Эти четкость и ясность достигались более откровенной сегрегацией населения по классам и функциям. Каждый район Парижа постепенно приобретал все большее своеобразие в одежде, занятиях и достатке: буржуазный торговый район, роскошный жилой квартал, промышленный пригород, ремесленный квартал, богемный квартал. В результате героических упрощений Хаусманна город стал более контролируемым и управляемым, более «читабельным».

Как это часто бывало с амбициозными замыслами нового времени, у просторной и импозантной новой столицы Хаусманна появился своего рода порочный двойник. Иерархия городского пространства, в которой перестроенный центр Парижа занял свое гордое место, предполагала вытеснение городской бедноты на окраины[145]. Это прежде всего относилось к Бельвилю, популярному рабочему кварталу на северо-востоке, который к 1856 г. превратился в 60-тысячный город. Большинство жителей этого квартала, который

нередко называли приютом отверженных, обездолила разрушительная энергия Хаусманна. К 1860-м годам он стал таким же очагом незатухающего сопротивления в пригороде, каким прежде был Сент-Антуан. «И проблема была не в том, что в Бельвиле не было сообщества, а в том, что сложившееся там сообщество было самого опасного для буржуазии свойства — туда не проникала полиция, там не было никакого контроля со стороны государства, там верховодили представители самых низких социальных групп, со всеми их неуправляемыми страстями и политической напряженностью»[146]. Если, как считают многие, Парижская Коммуна 1871 г. действительно отчасти была попыткой отвоевать город («la reconquete de la Ville par la Ville»)[147] со стороны тех, кого Хаусманн выселил на его задворки, то в Бельвиле это ощущалось особенно остро. Коммунары, отступая в конце мая 1871 г., отошли на северо-восток и закрепились в Бельвиле. Последним рубежом их обороны была Бельвильская ратуша. Объявленный логовом революционеров Бельвиль был подвергнут жестокой военной оккупации.

По иронии истории подавление Коммуны отмечено двумя характерными событиями. Во-первых, торжествовал победу стратегический проект Хаусманна: бульвары и рельсовые дороги, которые, по замыслу Второй империи, должны были помешать народному восстанию, доказали свою значимость. «Благодаря Хаусманну Версальская армия смогла одним махом перенестись от площади Шато-д'О в Бельвиль»[148]. Во-вторых, новые бунтарские кварталы были сметены строительством церкви Сакре-Кер, возведенной «в повинном городе... в знак возмещения ущерба на месте преступления»[149], точно так же, как прежде предместье Сент-Антуан было стерто с лица земли созидательными разрушениями Хаусманна.

Возникновение фамилий

Отдельные понятия, которые большинство из нас воспринимает как естественные и с помощью которых мы теперь с легкостью понимаем социальный мир, имели свое начало в проектах организации государств. Рассмотрим, например, такое фундаментальное понятие, как фамилия человека.

Заставка к популярному фильму «Свидетель» показывает, как мы используем фамилии при поисках нужного человека[150]. В этом фильме сыщик пытается разыскать молодого амиша (члена старинной секты эмигрантов в Америку из Германии, живущих по обычаям XVIII в.), который, вероятно, был свидетелем убийства. Хотя сыщик знает фамилию мальчика, ему препятствуют в поисках некоторые традиции амишей, в частности древнегерманский диалект, на котором они говорят. Первым его движением было взять телефонную книгу, где содержатся правильные адреса и телефоны. Но амиши не пользуются телефонами! Далее он узнает, что у амишей весьма ограничен набор фамилий. Его сомнения напоминают нам, что большое число фамилий в сочетании с именами в США позволяют нам безошибочно найти многих людей, с которыми мы никогда не встречались. Мир без фамилий труднодостижим. Сыщик, наконец, понял, что в этом закрытом обществе ему необходим амиш, который сопровождал бы его в поисках.

Процесс наделения людей именами необыкновенно разнообразен. В некоторых сообществах людям приписывают различные имена на разных стадиях их жизни (младенчество, детство, зрелость), а иногда и после смерти. Добавим, что эти имена употребляются для шуток, ритуалов и поминок, для общения с друзьями того же пола или в рамках закона. Каждое имя специфично не только для определенного периода жизни, но и для социального положения, оно даже зависит от того, с кем ведется беседа. Таким образом, один и тот же человек имеет несколько имен, и на вопрос «Как вас зовут» (вопрос, совершенно однозначный на современном Западе) наиболее вероятным ответом будет: «Это — по обстоятельствам...»[151].

Для человека, выросшего в таком сообществе, любое из этих имен легально и понятно. Каждое имя и место его употребления несут в себе определенный социальный смысл. Как паутина аллей Брюгге, как система мер и весов, как система владения землей, сложность наделения именами имеет прямую и часто практическую связь с местными нуждами. Но для пришельца эта византийская путаница имен оказывается непреодолимым препятствием в понимании данного сообщества. Найти кого-нибудь, пуститься одному на поиски в этой путанице родства, наследства или собственности означает взяться за грандиозное предприятие. Если, кроме того, семейство, которое вы разыскиваете, имеет причины скрывать свое имя и свою деятельность от властей, ценность этого камуфляжа имен весьма ощутима.

После административного деления природы (например, леса) и пространства (например, земельной собственности) изобретение постоянных, наследуемых фамилий стало последней предпосылкой создания современного государства. Почти в любом случае это было государственным проектом, предназначенным для того, чтобы власти могли безошибочно идентифицировать большинство граждан. Успех этого дела определял возможность их нахождения[152]. Налоги и церковная десятина, перемещения собственности, списки призывников, перепись населения и владение собственностью в рамках закона были бы невозможны без установления личности граждан и прикрепления их к родовой группе. Мероприятия по установлению постоянных, наследуемых фамилий соответствовали желаниям властей сделать налоговую систему более прибыльной и четкой. Не без основания боясь того, что попытки регистрировать и переписывать их являются предвестниками новых налогов или очередного призыва в армию, местные власти и большая часть населения сопротивлялись им.

Поскольку постоянные фамилии были в основном требованием властей, они должны были возникнуть раньше всего там, где складывались ранние государства. В этом смысле Китай служит поразительным примером[153]. Примерно в IV в. до н. э. (точная дата до сих пор является предметом дискуссий) династия Чин, по-видимому, стала внедрять использование фамилий для большинства населения и записывать их с целью введения налогов, принудительного труда и призыва в армию[154]. Вероятно, благодаря этому начинанию возник термин «лаобайксинг», переводимый как «сто старых фамилий» и в современном Китае означающий «обычные люди». До этого легендарные китайские родовые имена, принятые в правящих домах и у их родственников, простыми людьми не употреблялись. У них не было фамилий, и они даже не пытались имитировать обычаи элиты в этом отношении. Наделение семей фамилиями было частью государственной политики по введению статуса главы семьи (мужчины), обеспечивающего его юрисдикцию над женами, детьми и молодыми членами семьи, и — конечно же, неслучайно — обязывало его платить налоги за всю семью[155]. Эта политика династии Чин требовала регистрации всего населения, вследствие чего путаница имен, которыми люди называли друг друга, была упорядочена, и люди получили «хсинг» [фамилии], которые должны были передаваться из поколения в поколение по отцу бесконечно[156]. Поэтому установление постоянных фамилий и создание патриархальной семьи следует отнести к первым государственным упрощениям. По меньшей мере до XIV в. большинство населения Европы не имело постоянных родовых имен[157]. Люди откликались на типичные, данные лично им имена, и этого было вполне достаточно, чтобы их узнавали в данной округе. При необходимости добавлялось определение, указывающее на род занятий (в Англии — кузнец, пекарь), географическое местоположение (холм, опушка леса), физические отличия (коротышка, силач). Эти определения не были постоянными, они не переживали своего носителя, кроме тех случаев, когда сын продолжал дело отца.

Об образовании постоянных фамилий в Европе мы можем кое-что узнать по документам, оставшимся после неудавшейся переписи населения (*catasto*) в Флорентийском государстве в 1427 г.[158]. Эта *catasto* была смелой попыткой упорядочить доходы и военную мощь государства, точно определяя число его подданных и их состояние, место жительства, земельную собственность и возраст[159]. Тщательное изучение этих записей показывает, что, во-первых, по государственной инициативе чаще создавались новые фамилии, чем

просто регистрировались существующие (как в примере с Китаем). Поэтому часто невозможно было узнать, имеет ли зарегистрированная в государственных документах фамилия какое-либо социальное существование вне той роли в тексте, в который она вписана. Во-вторых, назначение разнообразных постоянных фамилий в пределах местности — в данном случае в Тоскане — служит в качестве грубого, но эффективного клейма принадлежности государству.

В начале XV в. в Тоскане родовыми именами обладали лишь несколько могущественных, обладающих собственностью родов (такие, как Строщи), что было для них способом достижения социального признания в плане принадлежности к «корпоративной группе» (и семья, и родственники принимали фамилию в качестве подтверждения связи с влиятельным кланом). Кроме этой незначительной части общества (и еще небольшого числа городских патрициев, которые копировали их поведение), у остального населения не было постоянных родовых имен.

Как же в таком случае ведомство, занимавшееся переписью, могло точно идентифицировать и регистрировать человека, не говоря уже о его местожительстве, собственности и возрасте? При заполнении документов типичный тосканец записывался не только под собственным именем, но и под именем своего отца и, возможно, деда, почти библейским способом (Луиджи, сын Джованни, сына Паоло). Учитывая ограниченное число имен, даваемых при крещении, и желание многих семейств повторять имена в следующих поколениях, даже такая последовательность не могла быть достаточной для однозначной идентификации. Человек мог добавить свою профессию, прозвище или личную характеристику. Нет никаких свидетельств того, что какое-либо из этих обозначений закреплялось, хотя такие и подобные им записи в конечном счете могли бы помочь идентифицировать человека, по крайней мере для записей в документах. В конечном итоге уровень развития Флорентийского государства оказался недостаточным для столь обширной административной деятельности, как перепись населения. Общественное сопротивление, неподчинение многих местных кланов, а также трудности и затраты, связанные с работой по переписи, обрекли проект на неудачу, и чиновники вернулись к ранее принятой системе отчетности.

Есть основания полагать, что по мере удаления от финансового центра государства вторые имена любого вида употреблялись реже. Во Флоренции треть владельцев собственности имела второе имя, в провинциальных городах это отношение снижалось до одной пятой, а в сельской местности — до одной десятой. В наиболее отдаленных и беднейших областях Тосканы, там, где обычно было наименьшее число контактов с чиновничеством, фамилии оформились только в XVII в.

В XIV и XV вв. прослеживается связь между развитием государства и присваиванием постоянных фамилий. Как и в Тоскане, в Англии фиксированные фамилии имели только богатые аристократические семьи. Они обычно были связаны с родовыми поместьями в Нормандии (например, Бьюмонт, Перси, Дисни) или местами в самой Англии, где семья имела феодальное поместье со времен Вильгельма Завоевателя (например, Жерар де Суссекс). Для остальной части мужского населения в качестве способа идентификации преобладала стандартная практика связи имен отца и сына[160]. Таким образом, сын

Вильяма Робертсона мог называться Томасом Вильямсоном (сыном Вильяма), а сын Томаса, в свою очередь, мог носить имя Генри Томпсон (сын Тома). Обратите внимание, что в таком случае отдельно взятая фамилия внуков не содержала свидетельства причастности к деду, усложняя таким образом прослеживание семьи через поколения по одним только именам. Очень многие северные европейские фамилии, теперь уже постоянные, все еще несут, как муха, застывшая в капле янтаря, значение старинного указания на отца (фиц-, О“-, -сен, -сан, -с, Мак-, -вич)[161]. Во времена своего становления фамилия часто своеобразно указывала на профессию или индивидуальные особенности: Джон, у которого была мельница, становился Джоном Миллером; Джон, изготавливавший колеса для телеги, — Джоном Вилрайтом, Джон, который был мал ростом, — Джоном Шортом. Так как потомки этих людей по мужской линии независимо от их занятия или положения в обществе наследовали патронимы, фамилии позже приняли произвольные оттенки.

Развитие личной фамилии (буквально: имя, добавленное к другому имени, — не путать с постоянным патронимом) шло бок о бок с развитием письменных официальных документов, таких, как записи оброка с десятины, поместные пошленные ведомости, регистрации брака, переписи, налоговые отчеты и записи учета земли[162]. Они были необходимы для успешной административной деятельности, касающейся большого количества людей, которых нужно было индивидуально идентифицировать, но которые не были известны властям лично. Представьте себе положение сборщика оброка с десятины или подушного налога, имеющего дело с мужским населением, 90% которого имеют всего шесть имен (Джон, Вильям, Томас, Роберт, Ричард и Генри). Для ведомостей требовалось некоторое второе обозначение, и, если человек не предлагал его, оно придумывалось регистрирующим клерком. Вторые обозначения — списки фамилий — делали население доступным учету, как единая система измерения и кадастровая карта делали доступной учету недвижимость. До поры человек мог предпочитать безопасность анонимного положения, но, вынужденный платить налог, он уже был заинтересован в точной идентификации, чтобы не делать это дважды. В XIV в. многие из этих фамилий представляли собой лишь административную фикцию, предназначенную лишь для сбора финансовой информации о населении. Многие из подданных, чьи «фамилии» записывались в документах, возможно, не осознавали, что именно записывалось, и для огромного большинства фамилии не имели никакого общественного значения, кроме их необходимости для самого документа[163]. Только в очень редких случаях неожиданно наталкиваешься на запись вроде: «Вильям Картер, портной», которая, вероятно, означает, что мы имеем дело с постоянным патронимом.

Развитие постоянных наследуемых фамилий точно соответствует возрастающей интенсивности взаимодействия человека с государством и другими подобными структурами (большие феодальные поместья, церковь). Таким образом, когда Эдуард I, установив первородство и наследственные арендные права для поместной земли, внес ясность в правовую сторону системы землевладения, он тем самым обеспечил мощный стимул для принятия постоянных фамилий. Взятие фамилии после смерти отца, по крайней мере, для старшего сына стало условием требования права собственности[164]. Теперь, когда право собственности было необходимо утверждать у государства, фамилии, которые когда-то были только бюрократическим изобретением, обрели социальную значимость. Можно себе представить, что в течение длительного времени английские подданные действительно имели два имени: местное и «официальное» — зарегистрированный патроним. Поскольку

частота взаимодействия с безличными административными структурами увеличивалась, во всех сферах, кроме самого близкого окружения человека, стало преобладать его официальное имя. Те подданные, которые (как тосканцы) жили на большем расстоянии от органов государственной власти (как в социальном, так и в прямом географическом смысле), приняли постоянные фамилии намного позже. Таким образом, высшие классы и те, кто жил на юге Англии, принимали постоянные фамилии раньше, чем низшие классы и жившие на севере. Существенно позже остальных приобрели фамилии шотландцы и валлийцы[165].

Государственная практика записи имен, как и государственная практика картографии, была связана с налогами (рабочая сила, военная служба, сбор зерна, налог с дохода) и, следовательно, вызывала народное сопротивление. Крупное восстание английских крестьян в 1831 г. (часто называемое восстанием под предводительством Уота Тайлера) вызвано, вероятно, не имевшим исторического прецедента десятилетним периодом регистрации населения и обложения его подушным налогом[166]. На английских крестьян, как и на тосканских, перепись мужского взрослого населения не могла не производить впечатления зловещего, если не губительного мероприятия.

Введение постоянных фамилий в колониальных поселениях позволяет воочию увидеть этот процесс, который на Западе мог занимать несколько поколений, сжатым в десятилетие или даже в меньшее время. Намерения государства в Европе и в колонии были одними и теми же, но колониальное государство было одновременно более бюрократизированным и менее терпимым к народному сопротивлению. Сама же бесцеремонность колониального процесса присвоения фамилии позволяет нам легче проследить этот процесс и быстрее обнаружить его парадоксы.

Невозможно найти лучшую иллюстрацию к нашим рассуждениям, чем Филиппины под владичеством Испании[167]. Филиппинцам в соответствии с декретом от 21 ноября 1849 г. было указано принять постоянные испанские фамилии. Автором декрета был губернатор (и генерал-лейтенант) Наркизо Клавериа-и-Залдуа, дотошный администратор, настроенный не только совершенствовать имена, но и рационализировать существующие законы, местные границы и даже существующий календарь[168]. Он заметил, утверждает в декрете, что у филиппинцев нет личных фамилий, которые помогали бы «различать их по семействам», и что местная практика принятия при крещении имен лишь небольшой группы святых привела к великой «путанице». Средством борьбы с этой путаницей объявлялся *каталог*, регистр не только личных имен, но и существительных и прилагательных, которые были взяты из флоры, фауны, минералогии, географии и искусства и предназначены для использования властями при присвоении постоянных и наследуемых фамилий. Каждому местному чиновнику дали запас фамилий, достаточный для юрисдикции, «с учетом, что распределение фамилий должно быть сделано по буквам [алфавита]»[169]. На практике это означало, что каждому городу дали некоторое число страниц из каталога, составленного в алфавитном порядке, в результате образовались целые города из людей с фамилиями, начинающимися на одну и ту же букву. В тех территориях, где в последние 150 лет наблюдалась лишь небольшая внутренняя миграция населения, до сих пор прослеживаются следы такой административной деятельности: «Например, в районе Бикол весь алфавит распределялся, как гирлянда цветов, по провинциям Альбау, Сорсогон и Катандуанес,

которые в 1849 году находились под властью Альбау. В столице провинции фамилии начинались с буквы А, на города вдоль побережья от Табако до Тиви приходились буквы В и С. При возвратном движении вдоль побережья Сорсогона, использовались буквы Е и Г, при движении вниз по долине Ирайа в Дарага — буква М, затем оставляем S для Полангии и Либона и заканчиваем алфавит быстрым движением вокруг острова Катандуанес»[170].

Беспорядок, от которого указанный декрет должен был стать противоядием, в значительной степени шел от официальных лиц и налоговых чиновников. Они верили, что универсальные фамилии облегчат управление правосудием, финансами и общественным порядком, упростят и установление степени кровного родства для будущих партнеров в браке[171]. Однако для прагматичного государственного деятеля с характером Клавериа окончательной целью был полный и четкий список подданных и налогоплательщиков. Это хорошо видно из краткой преамбулы к декрету: «Ввиду чрезвычайной полезности и практичности этой меры настало время выпустить руководство по созданию официального гражданского регистра [прежде функция церкви], который не только выполнит и обеспечит упомянутые цели, но и послужит основанием для сбора статистических данных по стране, обеспечит сбор налогов, ревностное исполнение службы и получение льготных выплат. Более того, он даст точную информацию о перемещении населения и таким образом поможет избегать неправомерной миграции, выявлять уклоняющихся налогоплательщиков и другие злоупотребления»[172].

Имея точные списки всех граждан колонии, Клавериа предложил каждому местному чиновнику заполнить таблицу в восемь колонок, в которые заносятся налоговые обязательства, общественные трудовые повинности, имя, фамилия, возраст, семейное положение, занятие и льготы. В девятой колонке, ежемесячно предоставляемой для проверки, отмечалось изменение статуса. Благодаря тщательности и единообразию эти записи позволяли бы государству собирать точные статистические данные о жителях Манилы с целью повышения финансовой эффективности управления. Огромная стоимость работ по присвоению фамилий всему населению, а также по составлению полного и четкого списка налогоплательщиков оправдывалась прогнозом, что список, составление которого могло стоить 20 тыс. песо, позволил бы во время сбора ежегодного налога получить одну или две сотни тысяч песо дохода.

А что, если филиппинцы проигнорируют свои новые фамилии? Мысль о такой возможности приходила в голову Клавериа, и он предпринял некоторые меры для того, чтобы имена вошли в обиход. Школьным учителям было приказано запрещать своим ученикам обращаться друг к другу или называть друг друга любым другим именем, кроме официального, присвоенного семье. Тех преподавателей, которые не проявляли должного рвения при выполнении этого предписания, наказывали. Поскольку школьный контингент был незначителен, вероятно, более эффективной мерой оказалось запрещение священникам, военным и гражданским должностным лицам принимать любой документ, заявление или ходатайство, в котором не использовались официальные фамилии. Документы, оформленные на неофициальные имена, не имели законной силы.

Как и следовало ожидать, практика значительно разошлась с административной утопией Клавериа о четких и регламентированных налогоплательщиках. Длительное использование

таких явно неиспанских фамилий, как Магсау-сау или Макапагаль, наводило на мысль, что часть населения не выдержит подобного испытания. Местные чиновники представляли неполные отчеты или вообще их игнорировали. Существовала еще одна серьезная проблема, которую Клавериа предвидел, но не нашел способа с ней справиться. Новые регистраторы, как и предусматривалось, редко фиксировали прежние имена, которые использовались регистрируемыми лицами. Из-за этого чиновникам стало чрезвычайно трудно отслеживать в прошлом, до эпохи преобразования имен, наличие собственности и уплату налогов. Сам успех новой системы по непредусмотрительности лишил государство зрения.

Как это было с лесами, земельными владениями и перестроенными городами, практика введения фамилий сразу не помогала достичь того совершенства, к которому стремились проектировщики. Попытка провести перепись населения в 1872 г. потерпела полную неудачу, и до самой революции 1896 г. ее не пытались повторить. Однако к XX в. большинство филиппинцев уже носило фамилии, навязанные им Клавериа. Это объясняется увеличившимся влиянием государства на жизнь людей и его способностью настаивать на соблюдении своих законов.

Универсальные фамилии — относительно недавнее историческое явление. Обладая ясными и полными именами, да еще и возрастающим числом фиксированных адресов, государству становилось неизмеримо проще проследить право собственности и наследования, собирать налоги, поддерживать судопроизводство и деятельность по охране правопорядка, производить мобилизацию солдат на военную службу и контроль эпидемий. Государство, занимаясь полной инвентаризацией населения, преследовало утилитарные цели, но любопытно, что либеральные идеи введения гражданства, подразумевавшего право голоса на выборах и всеобщую воинскую повинность, также внесли значительный вклад в стандартизацию методов присвоения имен. Примером может служить законодательное присвоение постоянных фамилий западноевропейским евреям, у которых не было такой традиции. Декрет Наполеона «Concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prenoms fixes» (о евреях, не имеющих закрепленных фамилий и имен) в 1808 г. установил обязательность фамилий[173]. Австрийское законодательство в виде составляющей процесса социальной эмансипации потребовало от евреев выбрать себе фамилии, если же они отказывались, то обязаны были принимать фамилии, выбранные для них чиновниками. В Пруссии уровень социальной эмансипации евреев был пропорционален количеству принятых фамилий[174]. Многие иммигранты в Соединенные Штаты, евреи и не евреи, не имели постоянных фамилий, когда они решились переселиться в эту страну. Однако очень немногим удалось сделать это только с помощью своих основных документов до принятия официальной фамилии, которую до сих пор носят их потомки. Процесс присвоения фиксированных фамилий до сих пор продолжается во многих странах третьего мира и вдоль «территориальных границ народностей» в более развитых странах[175]. Конечно, на сегодняшний день имеется много других стандартных установлений государства, значительно улучшивших его возможности идентификации человека. Свидетельства о рождении и смерти, уточненные адреса (более конкретные, чем высказывание вроде: «Джон, живущий на холме»), удостоверения личности, паспорта, социальные номера, фотографии, отпечатки пальцев и введенные совсем недавно ДНК-профили заменили такой грубый инструмент, как постоянная фамилия. Но фамилия была первым и решающим шагом

в создании четкого индивидуального гражданства и наряду с фотографией все еще занимает первое место в идентификационных документах.

Официальный язык

Культурный барьер, обусловленный наличием собственного языка, является, возможно, наиболее эффективной гарантией, что социальный мир, легкодоступный для восприятия изнутри, останется непрозрачным для чужаков[176]. Так же, как путешественнику или государственному чиновнику мог понадобиться местный проводник, чтобы не заблудиться в Брюгге XVI в., ему потребуется и местный переводчик, чтобы понимать и быть понятым в незнакомой языковой среде. Для автономии особый язык даже важнее, чем сложности топографии. В нем отражена своеобразная история, культура, литература, мифология и музыка[177]. В этом отношении уникальность языка представляет значительное препятствие для государственной осведомленности в делах автономии, не говоря уж о колонизации, контроле деятельности, обучении или пропаганде.

Из этого следует, что введение единого официального языка может быть самым могущественным средством государственных упрощений, являющимся предпосылкой многих других упрощений. Юджин Вебер на примере Франции предлагает рассматривать этот процесс как разновидность внутренней колонизации, при которой разноязычные провинции (такие, как Бретань и Аквитания) были лингвистически подчинены и культурно объединены[178]. С первых настойчивых шагов, направленных на использование французского языка, стало ясно, что целью государства была доступность местной практики для контроля. Чиновники настаивали, чтобы каждый юридически законный документ — будь то завещание, документ купли-продажи, акт ссуды, контракт, рента или имущественное дело — оформлялись на французском языке. Ведь документы на местном языке были труднодоступны для чиновника, присланного из Парижа, их было невозможно привести в соответствие с централистскими схемами юридической и административной стандартизации. Кампания лингвистической централизации имела определенные надежды на успех, так как она проводилась совместно с распространением государственной власти. К концу XIX в. взаимодействие с государством стало неизбежным для всех, кроме очень малой части населения. Петиции, судебные дела, школьные документы, заявления и обращения к должностным лицам были составлены на французском языке. Трудно даже представить себе более эффективный способ немедленного обесценивания местных знаний и приобретения привилегированного положения всеми теми, кто овладел официальным лингвистическим кодом. Это было гигантское изменение во власти. К тем, кто недостаточно владел французским, относились как к немым, к маргиналам. Им требовались местные проводники к новому государственному культурному слою, возникшему в лице юристов, нотариусов, школьных учителей, клерков и солдат[179].

Как можно было предполагать, за лингвистической централизацией скрывался культурный проект. Французский язык означал принадлежность к национальной цивилизации; целью его навязывания было не просто заставить провинциальных жителей усвоить кодекс Наполеона, но и познакомить их с Вольтером, Расином, парижскими газетами и приобщить к национальному образованию. По резкому замечанию Вебера, «не может быть более ясного

выражения имперского чувства, чем приверженность белого человека франкофонии, чьи первые победы должны были быть одержаны в первую очередь дома»[180]. Там, где некогда господство латинского языка обусловило участие небольшой элиты в более широкой культуре, теперь власть французского языка определяла полноту участия во французской культуре. В иерархии культур проявлялась скрытая логика, низводящая местные языки и региональные культуры, в лучшем случае, к симпатичному провинциализму. Без всяких оговорок, на вершине этой пирамиды находился Париж и его учреждения: министерства, школы, академии (включая главного хранителя языка — l'Académie Française). Успех этого культурного проекта зависел как от возможностей принуждения, так и от побуждающих мотивов. «Это была централизация, — говорит Александр Сангвинетти, — которая позволила создать Францию, несмотря на сопротивление французов или их безразличие... Франция — тщательное политическое сооружение, для создания которого центральная власть никогда не прекращала борьбы»[181]. Стандартный (парижский) французский и Париж были не только фокусами власти; они были также центрами притяжения. Рост рынков, мобильность населения, новые карьеры, политическое покровительство, общественные службы и национальная образовательная система — все это означало, что освоение французского языка и связи с Парижем были путями социального продвижения и материального успеха. Такое государственное упрощение обещало вознаградить тех, кто подчинится ему, и наказать тех, кто его игнорирует.

Централизация дорожного движения

Централизация языка, состоявшая в навязывании парижского французского в качестве официального, сопровождалась централизацией дорожного движения. Как новая ситуация в языке сделала Париж центром национальной коммуникации, так и новые шоссейные и железнодорожные системы способствовали движению в Париж и обратно по межрегиональным или местным дорогам. Говоря на современном языке, государственная политика напоминала «подсоединение к интернету», которое сделало провинции более доступными, более прозрачными для центральных властей, чем могли вообразить даже абсолютные монархи.

Для наглядности представим себе нецентрализованную систему коммуникации, с одной стороны, и централизованную, с другой. Нецентрализованную систему можно представить в виде карты фактических маршрутов товаров и людей, *не созданных по административному указу*. Эти маршруты не были совсем случайными, они отражали удобство поездок по долинам, вдоль водоемов и вокруг ущелий, а также расположение важных ресурсов и обрядовых мест. Вебер хорошо улавливает и выражает богатство человеческой деятельности, оживляющей эти передвижения по дорогам: «Дороги служили профессиональным занятиям, были проложены специальные тропы стеклодувов, переносчиков и продавцов соли, гончаров. Существовали дороги, которые вели к кузницам, шахтам, карьерам и полям конопли, и маршруты, по которым лен, конопля, полотно и пряжа отвозились на рынок. По некоторым маршрутам шли паломники, по другим двигались процессии»[182].

Если ради чистоты аргументации представить себе место, где равномерно распределены физические ресурсы и нет никаких больших препятствий передвижению (таких, как горы или болота), тогда сформируется карта дорог, напоминающая систему капиллярного кровообращения (рис. 11).

Конечно, расположение дорог никогда не было полностью случайным. Рыночные города всегда представляли собой небольшие населенные пункты на удобных местах, рядом с религиозными святынями, карьерами, шахтами и другими важными объектами[183]. Во Франции сеть дорог издревле отражала централизующие амбиции местных правителей и национальных монархов. Однако цель такой идеализации состоит в изображении картины коммуникационных маршрутов, которые были бы только слегка отмечены государственной централизацией. Это во многих чертах напоминало бы городской пейзаж Брюгге конца XIV в., который был описан ранее.

Начиная с Кольбера, все государственные деятели, модернизовавшие Францию, стремились наложить на этот рисунок тщательно спланированную сетку административной централизации[184]. Эта сетка, никогда полностью не осознанная как таковая, должна была спрямить шоссе, каналы и в конечном счете железнодорожные линии, исходящие из Парижа, как спицы колеса (рис. 12).

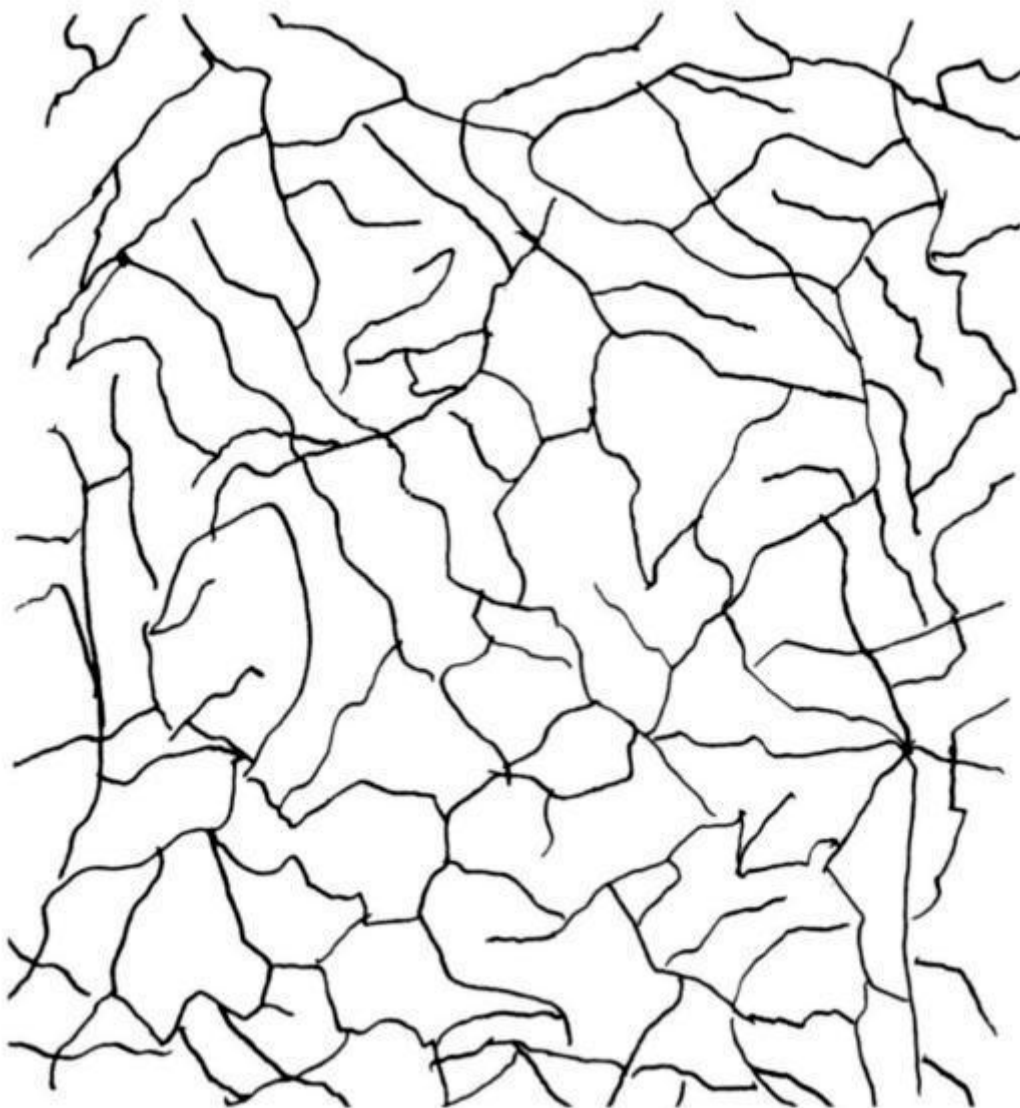


Рис. 11. Сеть троп, отвечающая особенностям привычных маршрутов и топографии

Подобие между этой сеткой и системой просек хорошо управляемого государственного леса, по мнению Кольбера, не было случайным. И то, и другое было изобретено для того, чтобы сделать максимально удобной связь и облегчить центральное управление. Используемое упрощение снова полностью соответствовало местоположению. Чиновнику из центра теперь было намного легче добираться до А или В по новым маршрутам. План дорог был разработан так, чтобы они «служили правительству и городам, а отсутствие сети вспомогательных путей объяснялось обычаями или потребностями народа. Административные шоссе, как назвал их один исследователь централизации, [были] построены так, чтобы по ним войска могли маршировать, а налоги — достигать казны»[185]. Однако желающему проехать или перевезти товары из А в В сделать это было не так просто. Подобно тому, как все документы должны были «пройти» официальную правовую

проверку, так и большинство коммерческих грузов приходилось провозить через столицу.

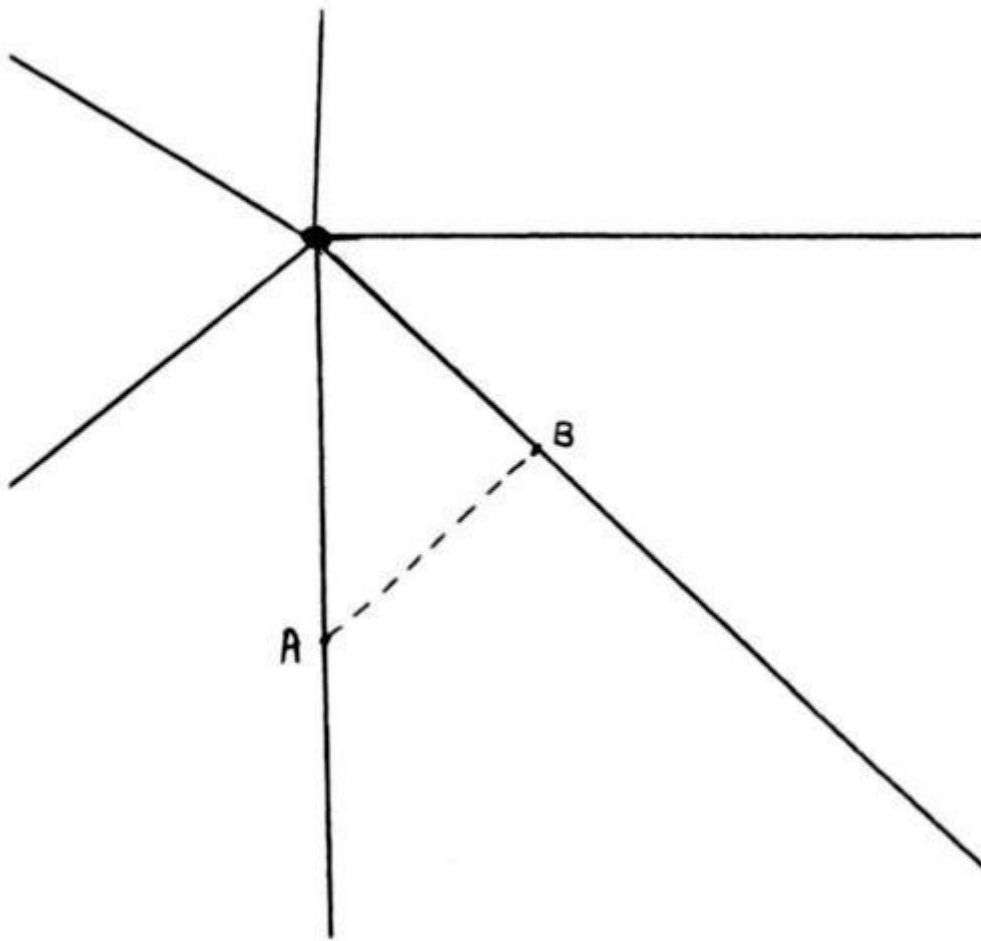


Рис. 12. Схема централизованного дорожного движения

Интеллектуальной силой, движущей этим *esprit geometrique*, были и остаются прославленные инженеры Департамента мостов и дорог (*Corps des Ponts et Chaussees*)[186]. Виктор Легран, глава департамента, был создателем красивой идеи семи грандиозных путей сообщения, связывающих Париж с различными пунктами от Атлантики до Средиземноморья. Его план, известный под названием «Звезда Леграна», был предложен сначала для каналов, а затем, с большим эффектом, для железных дорог (среди них Северная и Восточная)[187].

Централизуя в первую очередь эстетически, этот план бросал вызов всем канонам коммерческой логики или рентабельности. Согласно первой части плана, дорога от восточной части Царижа до Страсбурга и границы пролегла прямо через плато Бри, а не через населенные пункты вдоль Марны. Эта железнодорожная линия, отказывающаяся ради геометрического совершенства следовать топографии, была разорительно дорога по сравнению с английскими или немецкими железными дорогами. Но армия тоже поддержала замысел Департамента мостов и дорог, считая, что прямые железнодорожные линии к границам будут выгодны в военном отношении. Это было опровергнуто самым трагическим образом во время Франко-Прусской войны 1870—1871 гг.[188]

Усовершенствования дорожного движения имели огромные последствия, большая часть которых была направлена на соединение провинциальной Франции и ее жителей с Парижем и государством, а также на облегчение развертывания войск из столицы для подавления гражданского волнения в любом районе страны. Использование дорог было нацелено на военный контроль над нацией, который в самой столице был уже достигнут Хаусманном. Это позволило Парижу (и государству) влиять на экономику за счет провинций, облегчить финансовый и военный контроль центра, а также ослабить побочные культурные и экономические связи, укрепляя иерархию власти. Одним ударом это отбросило отдаленные области на задворки — точно так же, как официальный французский оттеснил местные диалекты.

Заключение

Должностные лица современного государства допускают, как правило, по крайней мере одну ошибку (а чаще несколько подобных), удаляющую их от общества, за которое они взялись отвечать. Они оценивают жизнь общества по ряду параметров, всегда несколько отдаленных от целостной действительности, которую, как предполагается, отразят их абстракции. Таким образом, диаграммы и таблицы ученых-лесоводов, несмотря на их способность объединять отдельные факты в некую целостность, не вполне точно отражают (да и не для этого предназначены) реальный лес в его разнообразии. Точно так же кадастровая карта и документ права собственности являются грубыми, часто вводящими в заблуждение представлениями существующих фактических прав использования и распоряжения землей. Функционер любого большого ведомства «видит» интересующую его человеческую деятельность через призму упрощенных документов и приблизительных статистических данных: налогообложение, списки налогоплательщиков, земельные отчеты, среднестатистические доходы населения, число безработных, уровень смертности, данные о коммерческой деятельности и производительности, общее число случаев заболевания холерой в некотором районе.

Эта типизация необходима для управления государством. Государственные схематические упрощения, такие, как карты, переписи, кадастровые списки и стандартные единицы измерения, представляют способы отражения многообразной и сложной действительности, нужные для того, чтобы чиновники могли постичь общую картину и упростить сложную действительность до схематических категорий. Единственный путь выполнить это состоит в сведении бесконечного множества деталей в набор категорий, которые облегчат итоговые описания, сравнения и группирования. Изобретение, разработка и использование этих абстракций представляет, как показал Чарлз Тилли, огромный скачок в возможностях государства — в переходе от сбора дани и косвенного управления к налогообложению и прямому управлению. Косвенное управление, требующее лишь минимального государственного аппарата, было вынуждено опираться на местную элиту, которая была заинтересована придерживать ресурсы и информацию, идущие из центра. Прямое управление разожгло широко распространившееся сопротивление и поэтому вызвало частичное ограничение власти центра, но зато государственные чиновники впервые получили прямую информацию и приблизились к прежде темному и непонятному для них обществу.

Такова способность наиболее продвинутых методов прямого управления — при простом подытоживании известных фактов обнаруживать новые социальные истины. Центр по контролю заболеваний в Атланте служит этому убедительным примером. Сеть типовых больниц Центра позволила ему первому «обнаружить» — в эпидемиологическом смысле — такие ранее неизвестные болезни, как токсический шоковый синдром, болезнь легионеров и СПИД. Подобные типизированные факты являются могущественной формой государственного знания, позволяющей чиновникам вмешиваться на ранних стадиях в

эпидемии, разбираться в экономических тенденциях, сильно влияющих на общественное благосостояние, оценивать, имеет ли проводимая ими политика желаемый успех, и строить политику, имея в распоряжении много решающих фактов[189]. Некоторые из этих компетентных вмешательств можно назвать буквально спасительными.

Способы, направленные на то, чтобы сделать общество более доступным для обозрения его правителями, стали значительно более изощренными, но управляющие ими политические мотивы изменились мало. Из них наиболее очевидны присвоение, контроль и манипуляция (в неуничтожительном смысле). Государство, у которого нет надежных средств, чтобы пересчитать свое население и указать, где оно находится, оценить его благосостояние и наладить картографирование земли, ресурсов и поселений, может вмешиваться в жизнь общества только очень грубо. Общество, относительно труднодоступное для государства, может изолироваться от некоторых форм отлаженных государственных вмешательств, как охотно принимаемых (универсальные прививки), так и дающих почву для возмущения (личные подоходные налоги). Для вмешательства обычно используются местные уроженцы, которые знают общество изнутри и, вероятно, будут преследовать при этом свои собственные, частные интересы. Но без этого посредничества, а часто и с ним, действия государства будут неэффективными, требующими слишком больших усилий.

Непрозрачное общество мешает любому государственному начинанию, является ли его целью грабёж или общественное благосостояние. Пока интерес государства ограничен захватом нескольких тонн зерна и поимкой нескольких призывников, невежество государства еще не фатально. Однако, если государство требует от своих граждан изменения повседневных привычек (гигиена или здоровый образ жизни) или исполнения определенной работы (квалифицированный труд или обслуживание сложных механизмов), такое невежество уже опасно. Полностью понятное, доступное взору государства общество устраняет местную монополию на знания и обеспечивает своеобразную прозрачность государства благодаря единообразию кодексов, удостоверений, статистики, инструкций и мер измерения. Вероятно, одновременно оно создает новые преимущества позиций «на вершине» — для тех, кто владеет знаниями и имеет легкий доступ к дешифровке нового формата документов, создаваемого государством.

Вмешательства, которые допускает такое просматриваемое общество, могут, конечно, быть дискриминационными и даже смертоносными. Отрезвляющим примером служит бессловесное напоминание — карта, выпущенная городским статистическим центром Амстердама во время нацистской оккупации в мае 1941 г. (рис. 13)[190]. Вместе со списками граждан эта карта давала возможность примерно подсчитать еврейское население в городе, из которого были депортированы 65 тыс. граждан.



Рис. 13. Карта «Размещение евреев в муниципалитете (май 1941 г.)», выпущенная городским статистическим управлением города Амстердама

Карта называлась «Размещение евреев в муниципалитете». Схема, в которой каждая точка представляла десять евреев, без труда позволяла обнаружить районы, плотно ими заселенные. Такую карту удалось составить, не только приказав людям еврейского происхождения обязательно зарегистрироваться, но и проведя обычную регистрацию всего населения («исключительно исчерпывающую в Нидерландах»)[191], а также регистрацию деловой активности. В результате была получена детальная информация об именах, адресах и этническом происхождении (возможно, последнее определено по имени в списках населения или по заявлению) с картографической точностью, достаточной для воспроизведения такого статистического представления. Это делает очевидным вклад, который вносит подобная четкость в возможности государства.

Конечно, деятельность нацистских властей имела смертоносную цель, но средством для ее успешного выполнения стала четкость, обеспеченная властями Голландии[192]. Эта

четкость, нужно подчеркнуть, просто усиливает способность государства к дискриминационным вмешательствам — способность, которая с той же легкостью могла быть использована для того, чтобы накормить евреев, а не депортировать их.

Доступность обозрению подразумевает наличие наблюдателя, который находится в центре и может разглядывать данный пейзаж. Виды государственных упрощений, которые мы рассматривали, предназначены для того, чтобы обеспечить власти схематическим представлением общества. Такое представление недоступно человеку, не имеющему властных полномочий. Подобно американским полицейским на скоростных шоссе, надевающим зеркальные солнцезащитные очки, власти с помощью своих упрощений получают возможность наблюдать только определенные аспекты жизни общества. Эта привилегированная позиция удобна для тех учреждений, где важнее всего управление и контроль сложной человеческой деятельности. Монастырь, казармы, заводские корпуса и административная бюрократия (производственная или общественная) выполняют много функций, подобных государственным, и часто подражают его информационной структуре.

Государственные упрощения можно рассматривать как часть продолжающегося «проекта создания четкости» — проекта, никогда полностью не осознанного. Данные, от которых отправляются такие упрощения и разворачиваются потом на разных уровнях, пронизаны погрешностями, упущениями, массой ошибок, мошенничеством, небрежностью, политическим искажением и т. д. План создания четкости присущ любому государственному управлению, стремящемуся к манипуляции обществом, но он подрывается соперничеством внутри государства, техническими препятствиями, и прежде всего сопротивлением самих объектов управления.

Государственные упрощения имеют по крайней мере пять заслуживающих внимания характеристик. Наиболее очевидно, что государственные упрощения касаются только тех аспектов социальной жизни, которые интересуют чиновников. Это *утилитарные* факты. Во-вторых, это почти всегда записанные (словесно или с помощью цифр) *документальные* факты. В-третьих, это обычно *статические* факты[193]. В-четвертых, большинство типизированных государственных фактов являются также *агрегированными*, которые могут быть безличными (плотность сетей дорог) или просто собранием данных о людях (уровень занятости, уровень грамотности, способы проживания). Наконец, для большинства целей государственным чиновникам нужно сгруппировать граждан такими способами, которые позволят им сделать общую оценку. Следовательно, факты, которые могут быть соединены и представлены в усредненном виде или в распределениях, должны быть *стандартизованными*. Как бы ни были уникальны фактические особенности различных индивидуумов, составляющих данное сообщество, интерес представляет именно их сходство или, точнее, их различия по стандартизируемой шкале или континууму.

Процесс группировки стандартизированных фактов, по-видимому, требует по меньшей мере трех шагов. Первый и обязательный — создание общих единиц измерения или кодирования. Размер деревьев, земельный участок, метрическая система измерения земельной собственности или количества зерна, единообразная практика наименования, степные территории и городские участки стандартных размеров — вот какие единицы создаются для этой цели. На следующем шаге каждый объект или событие, попадающее в пределы

категории, обсчитывается и классифицируется согласно новой единице оценки. Определенное дерево вновь появляется уже как представитель размера группы деревьев; определенный участок сельскохозяйственных угодий — как координаты кадастровой карты; определенная работа — как пример видов деятельности; определенный человек — как носитель имени соответственно новой формуле. Каждый факт должен быть обновлен и возвращен на ту стадию, где он находился прежде, облаченным в новую униформу официальной выработки — как часть «системы тотальной классификационной сетки»[194]. Только в таком «наряде» эти факты могут принимать участие в кульминации процесса — создании целостной совокупности новых фактов с помощью объединения, следующего логике новых единиц измерения. Наконец мы добираемся до обзорных фактов, которые используются чиновниками: столько-то тысяч деревьев в данной категории размера; столько-то тысяч мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; столько-то хозяйств данного типа по площади; столько-то студентов, фамилии которых начинаются с буквы А; столько-то людей, больных туберкулезом. Объединяя несколько метрик совокупности, можно прийти к весьма тонким и сложным, прежде неизвестным истинам, включая, например, распределение туберкулезных больных по доходам и местам жительства в городе.

Называя такие детально разработанные артефакты знаний «государственными упрощениями», мы рискуем ввести читателя в заблуждение. Они вовсе не так просты, как кажутся, и чиновники часто владеют ими с большим искусством. Термин «упрощение» здесь имеет два особых смысла. Во-первых, данные, которые чиновник должен получить, сводятся в обзорную схему целого, они должны быть выражены на языке, на котором могут воспроизводиться вновь и вновь. В этом отношении факты должны терять свое своеобразие и вновь появиться в схематической или упрощенной форме уже как члены класса фактов[195]. Во-вторых, в значении, близко связанном с первым, группировка сводных фактов с необходимостью влечет за собой уничтожение или игнорирование различий, которые в другом отношении могли бы быть приняты во внимание.

Возьмем, например, упрощения, касающиеся занятости населения. Трудовая деятельность многих людей исключительно сложна и может меняться изо дня в день. Однако для официальной статистики определение «выгодная работа» является типизированным фактом: кто-то занимается выгодной работой, а кто-то нет. Кроме того, доступные характеристики многих специфических рабочих мест резко ограничены категориями, используемыми в совокупной статистике[196]. Те, кто занимается сбором и интерпретацией этих сгруппированных данных, понимают, что в их категориях содержится нечто вымышленное, произвольное качество и что они утаивают богатство проблемных вариантов. Однако, будучи установленными, эти скудные категории с необходимостью действуют так, как если бы все подобные классифицируемые случаи были в действительности гомогенны и единообразны. Все нормальные деревья (*Normalbaume*) в указанном диапазоне размеров подобны, вся почва в определенном классе почв статистически идентична, все автомобилестроители (если у нас классификация по промышленным специальностям) похожи, все католики (если у нас классификация по религиозным верам) одинаковы. Теодор Портер в своей работе о технической объективности указывает, что есть «сильный стимул предпочесть четкие и стандартизируемые измерения высокоточным», так как точность бессмысленна, если идентичная процедура не может быть надежно выполнена в другом месте[197].

К этой мысли я добавил бы довольно простую, даже банальную мысль об упрощении, абстракции и стандартизации, которые необходимы для определения государственными чиновниками обстоятельств жизни части населения или всего населения. Но я хочу сделать и следующее утверждение, аналогичное высказанному по поводу научного лесоводства: современное государство с помощью своих чиновников пытается с переменным успехом создать картину природы и населения с такими стандартизированными характеристиками, которые будут наиболее простыми при контроле, подсчете, оценке и управлении. Утопическая, неизменная, постоянно недостижимая цель современного государства состоит в том, чтобы свести хаотическую, беспорядочную, постоянно изменяющуюся социальную действительность к чему-то такому, что было бы приближено к административной сетке наблюдений. Многие в искусстве управления государством XVIII и XIX вв. было уделено этому проекту. «В период перехода от дани к налогообложению, от косвенного управления к прямому, от подчинения к уравниванию, — замечает Тилли, — государства старались сделать свое население однородным и искоренить раздробленность, насаждая общие языки, религии, денежные единицы и юридические системы, а также создавая связанные между собой коммерческие системы, транспорт и связь»[198].

Как ученый-лесовод может мечтать о совершенном лесе, засаженном растениями одного возраста, одного вида, прямыми рядами на прямоугольном равнинном участке, очищенном от подлеска и без всяких браконьеров[199], так и требовательный государственный чиновник может стремиться к совершенно понятному населению с зарегистрированными отличительными именами и адресами, привязанными к плану поселений, населению, которое выбирает определенные классифицированные профессии, а свои сделки полностью документирует в соответствии с разработанной схемой и на официальном языке. Это карикатурное изображение общества утрировано, как и плац для военного парада, но та доля истины, которую оно несет, поможет понять те грандиозные планы, которые мы будем рассматривать[200]. Стремление к однородности и порядку предупреждает об опасности того несомненного факта, что современное управление государством является в значительной степени проектом внутренней колонизации, часто истолковываемой на языке империалистической риторики как «цивилизующая миссия». Строители современного национального государства не просто описывают, наблюдают и наносят на карту, они стремятся организовать людей и окружающий мир так, чтобы они подходили к их методам наблюдения[201].

Возможно, что эту тенденцию разделяют многие большие иерархические организации. Доналд Чизхолм в обзоре литературы по административному координированию делает вывод, что «центральные схемы координирования действительно эффективны при условиях, что заданное окружение известно и неизменно, и с ним можно обращаться как с закрытой системой»[202]. Чем более статично, стандартизировано и однообразно население или социальное пространство, тем оно четче и легче поддается техническим приемам государственных чиновников. Я полагаю, что юрисдикция власти сводит цель многих государственных деяний к преобразованию населения, пространства и природы в закрытые системы, не представляющие никаких неожиданностей и гораздо лучше наблюдаемые и контролируемые.

Государственные чиновники могут навязывать свои упрощения, так как государство в совокупности своих институциональных установлений наилучшим образом подготовлено к тому, чтобы настаивать на обращении с людьми согласно своей схеме. Таким образом, категории, которые когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, переписчиков населения, судебных исполнителей или полицейских, могут организовывать повседневную жизнь людей, поскольку они внедрены государством в специальные институты, структурирующие эту жизнь[203]. Экономический план, топографическая карта, отчет о собственности, план ведения лесного хозяйства, классификация по этнической принадлежности, банковский счет, протокол задержания и карта политических границ приобретают свою силу, так как все эти сводные данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют и формируют государственные чиновники. При диктаторских режимах, где нет эффективного способа отстаивания другой реальности, фиктивные «бумажные» факты могут даже преобладать, потому что именно с помощью «бумаг» приводятся в готовность полиция и армия.

Эти бумажные отчеты — действенные факты в судебном разбирательстве, в административном досье и для большинства функционеров. В этом смысле для государства нет никакой истины, кроме той, которая зафиксирована в документах, специальным образом стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь гораздо больше силы и удерживаться гораздо дольше, чем незаписанная истина. Например, для доказательства вашего права на недвижимость вам обычно предлагается воспользоваться документом, называемым актом о собственности, в судах и комиссиях, созданных для этой цели. Или же, чтобы ознакомиться с каким-нибудь положением закона, вы должны воспользоваться документом, который чиновники примут за доказательство вашего гражданства, будь то свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение личности. Категории, используемые государственными деятелями, не просто предназначены делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию власти, под которую должно танцевать большинство населения.